

ДИНО БУЦЦАТИ

ТАТАРСКАЯ ПУСТЫНЯ

I

Однажды сентябрьским утром только что произведенный в офицеры Джованни Дрого покинул город и направился в крепость Бастиани – к месту своего первого назначения.

Накануне он велел разбудить его пораньше, встал затемно и впервые надел лейтенантскую форму. Покончив с одеванием, он при свете керосиновой лампы оглядел себя в зеркале, но никакой радости вопреки ожиданию не испытал. В доме царила глубокая тишина, лишь из соседней комнаты доносились какие-то шорохи: это мама поднималась с постели, чтобы проститься с ним.

День, о котором он мечтал столько лет, наступил, теперь начиналась настоящая жизнь. Он подумал о тоскливых буднях Военной академии, вспомнил, как обидно было сидеть вечерами на занятиях, прислушиваясь к шуму улицы, где гуляли свободные и, наверно, счастливые люди; вспомнил зимние побудки в выстуженных дортуарах и витавший там неизбывный призрак наказания. До чего же нудно тянулись оставшиеся дни, казалось, им и конца не будет.

Наконец-то он офицер, и не надо больше корпеть над книгами и вздрагивать от голоса сержанта, но время ушло. Жизнь, казавшаяся ему такой ненавистной, навсегда канула в прошлое, а ведь она складывалась из месяцев и лет, которых уже не воротить. Конечно, теперь он офицер, у него заведутся деньги, и красивые женщины, возможно, будут обращать на него внимание, а все-таки – чувствовал Джованни Дрого – лучшие годы, годы ранней юности, уже не вернешь. С такими мыслями Дрого разглядывал в зеркале свое лицо, надеясь найти в нем хоть что-нибудь привлекательное, но видел лишь вымученную улыбку.

До чего все нелепо: ну почему во время прощания с матерью он не смог улыбнуться ей беспечно, как подобает офицеру? Почему пропустил мимо ушей ее последние советы, вобрав в себя лишь звук ее голоса – такой родной, такой теплый? Почему он бестолково и нервно метался по комнате в поисках часов, стека, фуражки, хотя они, как всегда, были на месте? Ведь не на войну же он собирался. Десятки точно таких же, как он, лейтенантов, его товарищи, тоже покидали сейчас отчий кров, но весело, со смехом, словно на праздник собирались. Почему же он, разговаривая с матерью, находил для нее лишь банальные, бессмысленные фразы вместо ласковых, ободряющих? Горечь первого расставания со старым домом, где его появление на свет связывалось с самыми добрыми надеждами, обычные страхи, порождаемые любыми переменами в жизни, волнение от прощания с матерью переполняли его душу, но сильнее всего была странная, неотвязная мысль, смутное предчувствие каких-то роковых событий, словно он уходил туда, откуда не возвращаются.

Лучший друг Франческо Вескови проводил его немного верхом. Цоканье копыт гулко разносилось по пустынным улицам. Светало, город еще спал, но кое-где, на верхних этажах, открывались ставни и из окон выглядывали усталые лица, чтобы лишь на мгновение окинуть безучастным взглядом изумительную картину зарождающегося утра.

Приятели молчали. Дрого пытался представить себе, что это за крепость такая – Бастиани, но безуспешно. Он даже не знал точно ни где она находится, ни сколько до нее ехать. Одни говорили, что верхом туда можно добраться за день, другие полагали, что быстрее, но никто из тех, кого он расспрашивал, судя по всему, сам там не бывал.

У городских ворот Вескови начал оживленно болтать о всяких пустяках, словно Дрого отправлялся на прогулку, а потом вдруг заметил:

– Видишь вон ту зеленую гору? Да-да, ту самую. Видишь строение на самой маковке? Так это и есть часть Крепости, ее передовой редут. Два года назад мы с дядей, помнится, охотились в тех местах.

Они уже выбрались за городскую черту. Потянулись кукурузные поля, луга, красные от осенних листьев рощи. Ехали рядышком по белой, залитой солнцем дороге. Они дружили с детства: много лет были соседями, вместе играли в компании таких же мальчишек и редкий день не видались. Потом семья Вескови разбогатела, Дрого избрал карьеру офицера, и приятели как-то отдалились друг от друга. Беспечная роскошная жизнь, которую вел Вескови, была чужда Дрого: впереди у него неизвестность и важные дела. Джованни казалось, что даже их лошади идут разным шагом: его лошадь перебирала ногами не легко и резво, а как-то тревожно, напряженно, очевидно, даже животное чувствовало, что все теперь будет по-другому.

Дорога шла на подъем. В верхней его точке Дрого оглянулся назад и посмотрел, щурясь от солнца, на город; над крышами поднимались утренние дымки. Вдали он увидел родной дом, различил окно своей комнаты. Все окна там сейчас, наверно, открыты, женщины занимаются уборкой. Разберут его постель, спрячут в шкаф одежду, а потом закроют ставни на засов. Долгие месяцы в комнату никто не заглянет, вездесущая пыль покроет вещи – лишь в солнечные дни туда будут проникать узкие полоски света. Маленький мирок его детства погрузится в темноту. Мать позаботится о том, чтобы оставить все как было до его возвращения, чтобы он после долгого отсутствия мог снова почувствовать себя мальчишкой. Да, она, конечно, надеется сохранить в неприкосновенности счастье, ушедшее навсегда, и сдержать бег времени, ей кажется, будто стоит открыть по возвращении сына окна и двери, как все опять сделается таким, как прежде.

Наконец они с Вескови сердечно попрощались, и Дрого один поехал дальше, в сторону гор. Когда он спустился в долину, ведущую к Крепости, солнце уже стояло в зените. Справа, на вершине горы, виднелся редут, на который указал Вескови. Судя по всему, ехать оставалось недолго.

Дрого не терпелось поскорее добраться до места, и, не останавливаясь даже, чтобы поесть, он гнал уставшего коня по дороге, которая забирала все круче между зажимавшими ее отвесными стенками. Путники стали встречаться совсем редко. Джованни спросил у какого-то возницы, сколько еще ехать до Крепости.

– До крепости? – переспросил тот. – До какой крепости?

– До крепости Бастиани, – ответил Дрого.

– Никакой крепости здесь поблизости нет, – сказал возница. – Никогда о ней даже не слышал.

По-видимому, он плохо знал местность. Дрого снова тронулся в путь. С приближением вечера на душе у него стало беспокойно. Он оглядывал высоченные крутые склоны по обе стороны долины, надеясь все же увидеть Крепость. Воображение рисовало ему что-то вроде старинного замка с уходящими ввысь стенами. Но время шло, и он все больше убеждался, что Франческо дал ему неверный ориентир; редут, о котором он говорил, скорее всего, давно остался позади. А уже начинало темнеть.

Взгляните-ка на этого Джованни Дрого и на его коня – какие они крошечные на фоне гор, которые становятся все выше, все неприступнее. Он продолжает подъем, надеясь, пока не стемнело окончательно, добраться до крепости, но, опережая его, из глубины ущелья, оттуда, где ревет поток, поднимаются тени, и движутся быстрее, чем он. В какой-то момент, когда тени по другую сторону ущелья оказываются на одном уровне с Дрого, создается впечатление, будто они вдруг замедляют свой бег, чтобы не лишать его последней надежды, но потом опять скользят вверх по обрывам и скалистым выступам и накрывают всадника.

Вся лощина была уже заполнена сиреневыми сумерками, лишь поросшие травой гребни на невообразимой высоте еще освещало солнце. Тут перед Дрого вдруг выросла черная на фоне чистого вечернего неба громада военного сооружения, казавшегося очень старым и безлюдным. У Джованни забилося сердце: наверное, это та самая Крепость, подумал он, но почему-то все вокруг – и сами стены, и пейзаж – выглядело очень уж неприветливо, даже зловеще.

Он стал объезжать крепость в поисках ворот. Хотя уже стемнело, нигде не было видно ни светящегося окна, ни огоньков в караулах на высоких стенах. Только летучая мышь металась на фоне белого облака. Наконец Дрого решил подать голос:

– Эге-гей! Есть здесь кто-нибудь?!

И тогда из густой тени у подножия стены вышел человек – с виду бродяга, нищий с седой бородой и сумой в руке. В полутьме поблескивали белки его глаз, разглядеть что-нибудь еще было трудно. И все же Дрого очень ему обрадовался.

– Кого вы здесь ищете, господин? – спросил тот.

– Мне нужна Крепость. Это она?

– Крепости здесь больше нет, – ответил незнакомец приветливо. – Все заколочено, лет десять, как все ушли.

– А где ж тогда Крепость? – раздраженно спросил Дрого, словно человек этот был перед ним виноват.

– Какая крепость? Может, вон та? – Незнакомец указал рукой вдаль. В узкой щели между двумя ближними скалами, уже окутанными тьмой, за хаотичным нагромождением уходящих ввысь гребней последние закатные лучи солнца, словно развеяв волшебные чары, высветили перед Джованни Дрого голый холм и на его вершине геометрически четкую ломаную линию какого-то странного желтоватого цвета – контуры Крепости.

Ох, как же она была далека! Бог знает сколько часов предстояло до нее добираться, а лошадь уже совсем выбилась из сил. Дрого как замороженный всматривался в даль, спрашивая себя, чем могла привлечь его эта одинокая крепостишка, спрятавшаяся от всего мира? Какие тайны она хранила? Вечер между тем был на исходе. Последний луч солнца медленно скользнул по далекому холму,

и фиолетовые тени надвигавшейся ночи стали быстро заглатывать желтые стены бастионов.

II

Темнота настигла его в пути. Долина была узкой, и Крепость скрылась за нависшими над дорогой горами. Нигде не было ни огонька, ночные птицы молчали, лишь изредка до его слуха доносился шум далеких горных потоков.

Он пробовал кричать, но эхо возвращало его голос, придавая ему что-то зловещее. Джованни привязал лошадь к обрубку дерева на краю дороги, где росло немного травы, а сам сел на землю, прислонился спиной к откосу и, ожидая, когда придет сон, стал думать о пути, который ему еще предстоит проделать, о людях, с которыми он познакомится в Крепости, о своей будущей жизни; и думы эти были безрадостны. Лошадь время от времени бухала копытами по земле, и Дрого всякий раз вздрагивал от этого неприятного и странного звука.

На рассвете, вновь пустившись в путь, он увидел на противоположном склоне другую дорогу, тянущуюся примерно на той же высоте, а через некоторое время заметил там какой-то движущийся предмет. Солнце еще не осветило ущелье, и в нем затаились глубокие тени, из-за которых было трудно разглядеть все как следует. Но Дрого, подхлестнув коня, все же поравнялся с непонятной фигурой и увидел, что это верховой офицер.

Наконец-то живая душа, свой человек, с которым можно будет посмеяться, пошутить, поговорить о будущей жизни, об охоте, женщинах, городе. Да, о городе, уже отошедшем в сознании Дрого куда-то далеко-далеко, совсем в другой мир.

Лощина стала уже, обе дороги сблизилась, и Джованни Дрого смог даже разглядеть, что всадник – капитан. Поначалу он не решался окликнуть незнакомца – это могло показаться неуместным и невежливым и лишь несколько раз поднес руку к козырьку фуражки, но тот не отвечал. Наверно, не видел Дрого.

– Господин капитан! – не выдержав, крикнул Джованни. И снова отдал честь.

– Что такое? – донесся до него голос с другой стороны лощины. Капитан, остановившись, вежливо откозырял ему и ждал объяснений. В его вопросе не было строгости, одно удивление.

– Что такое? – опять прокатился по лощине голос капитана, на сей раз уже несколько раздраженный.

Джованни остановился, сложил ладони рупором и прокричал что было мочи:

– Ничего! Я просто хотел с вами поздороваться! Объяснение получилось глупым, даже обидным для капитана, который мог подумать, что его разыгрывают. Дрого тотчас пожалел о своей выходке. В какое дурацкое положение можно себя поставить только из-за того, что тебе скучно одному.

– Вы кто? – прокричал капитан.

Этого вопроса Дрого как раз и боялся. Странная беседа через лощину приобретала таким образом характер какого-то допроса. Неприятное начало, ибо, скорее всего, капитан был из Крепости. Но теперь – деваться некуда – нужно было отвечать.

– Лейтенант Дрого! – громко отрекомендовался Джованни.

Капитан не знал его и на таком расстоянии мог не расслышать имя, но, судя по всему, ответ его успокоил, поскольку он снова тронулся в путь, согласно кивнув, словно говоря: скоро встретимся. И действительно, через полчаса в том месте, где

лощина становилась совсем узкой, Джованни увидел мост: две дороги сливались в одну.

Там они и встретились. Капитан подъехал к Дрого и, не слезая с коня, протянул руку. Это был человек лет сорока или даже постарше, с тонким, благородным лицом. Форма на нем была простая, но прекрасно подогнанная.

– Капитан Ортиц, – представился он.

Дрого, пожимая ему руку, подумал, что вот наконец он вступает в мир Крепости. Это была пока лишь первая ниточка, первое знакомство, за которым последуют другие, самые разные, и он станет здесь своим человеком.

Капитан, не задерживаясь, поехал дальше; Дрого последовал за ним, чуть поотстав из уважения к старшему по чину. Он все ждал, что капитан как-нибудь выразит свое неудовольствие по поводу его неловкой попытки завязать разговор. Но капитан молчал: то ли ему не хотелось говорить, то ли от природной застенчивости он не знал, с чего начать. Поскольку дорога круто поднималась в гору, а солнце основательно припекало, кони шли медленно. Наконец капитан Ортиц нарушил молчание:

– Я издали не совсем расслышал ваше имя... Дрого, если не ошибаюсь?

Джованни ответил:

– Дрого, через «d», Джованни Дрого. Вы уж простите, господин капитан, что я вас окликнул, – добавил он, смущаясь, – с другой стороны лощины трудно было разглядеть, какое у вас звание.

– Действительно, – не желая ставить Дрого в неловкое положение, согласился Ортиц и рассмеялся.

Так они проехали еще немного, ощущая некоторую скованность. Потом Ортиц спросил:

– Итак, куда же вы направляетесь?

– В крепость Бастиани. Я верно еду?

– А куда же еще?

Они снова замолчали. Становилось жарко. Со всех сторон их обступали горы – гигантские, поросшие травой, дикие. Ортиц сказал:

– Вы, значит, в Крепость? Везете какой-нибудь пакет?

– Нет, господин капитан, я назначен туда служить.

– Направлены в личный состав гарнизона?

– Думаю – да, в личный состав. Это первое мое назначение.

– Ну тогда в личный состав, конечно... Что ж, это хорошо... Выходит, вас можно поздравить...

– Благодарю вас, господин капитан.

И снова какое-то время они ехали молча. Джованни очень хотелось пить, а к седлу капитана была приторочена деревянная походная фляга, в которой плескалась вода: хлюп-хлюп.

– На два года? – спросил Ортиц.

– Простите, господин капитан, что значит: на два года?

– Как это – что? Отслужите здесь, как положено, два года. Так ведь?

– Два года? Не знаю, срок мне не указали.

– Это само собой разумеется. Все новоиспеченные лейтенанты служат здесь два года, а потом уезжают.

– И для всех такой порядок? Именно два года?

– Ну разумеется, а в выслугу они идут за четыре. Ведь именно для этого все вы сюда проситесь, иначе кто бы сюда поехал? Что ж, ради карьеры и к Крепости можно привыкнуть, не так ли?

Дрого ничего об этом не знал, но на всякий случай решил отделаться ничего не значащей фразой:

– Конечно, можно...

Ортиц прервал начатый разговор: казалось, тема эта его несколько не интересует. Но теперь лед был сломан, и Джованни все же решился задать ему вопрос:

– Неужто всем, кто служит в Крепости, засчитывается год за два?

– Кому – всем?

– Я имею в виду офицеров.

Ортиц хмыкнул.

– Как же, всем! Скажете тоже! Младшим офицерам, естественно. В противном случае никто бы сюда не просился.

Дрого сказал:

– Я не просился.

– То есть как? Вы не подавали прошения?

– Нет, господин капитан. Только два дня назад мне сказали, что я назначен в Крепость.

– По правде говоря, это странно. Да уж...

Они снова помолчали. Каждый, казалось, думал о своем. Вдруг Ортиц заметил:

– Разве что...

Джованни встрепенулся:

– Простите, господин капитан?!

– Я хотел сказать: разве что других желающих не нашлось... и они направили вас сами.

– Вполне возможно, господин капитан.

– Да уж... Скорее всего, так оно и есть. Действительно.

Дрого видел вырисовывающиеся на дорожной пыли четкие тени двух лошадей, двух голов, согласно кивающих на каждом шагу; слышал дробный перестук копыт, жужжанье приставших к ним больших надоедливых мух и – все. Дорога тянулась бесконечно. Время от времени на повороте далеко впереди можно было разглядеть высеченный в отвесных склонах серпантин. Но стоило добраться до того места и посмотреть вверх, как дорога опять оказывалась перед глазами и снова ползла в гору.

– Простите, господин капитан... – сказал Дрого.

– Да-да, я вас слушаю.

– Нам еще долго ехать?

– Не очень. Таким шагом часа два с половиной, а может, и все три. Да уж, к полудню, думаю, приедем.

Снова наступило долгое молчание. Лошади вспотели; та, на которой ехал капитан, устала и едва переставляла ноги.

– Вы из Королевской академии, не так ли? – спросил Ортиц.

– Да, господин капитан, из Академии.

– Тогда скажите, там ли еще полковник Магнус?

– Полковник Магнус? Что-то не слышал о таком.

Лощина стала сужаться, солнечные лучи в нее уже не попадали. Время от времени в отвесных стенах открывались устья мрачных боковых ущелий, из которых дул ледяной ветер; впереди и выше виднелись очень крутые конусообразные горы: казалось, и трех дней не хватит, чтобы добраться до их вершин, так они высоки.

– А скажите, лейтенант, – вновь прервал молчание Ортиц, – майор Боско все еще там и по-прежнему ведает огневой подготовкой?

– Нет, господин капитан, и такого я не знаю. Огневую подготовку у нас ведет Циммерман, майор Циммерман.

– Ах, Циммерман, слышал я эту фамилию. Действительно... Столько лет прошло... Ясное дело, все давно сменились.

И опять оба погрузились в свои мысли. Дорога теперь вилась по солнечному склону, за горами вздымались горы, еще более крутые, скалистые.

– Я видел ее вчера вечером издали, – сказал Дрого.

– Что? Крепость?

– Да, Крепость. – Из вежливости Дрого немного помолчал, потом продолжил: – Мне она показалась огромной, грандиозной...

– Грандиозной? Ну что вы, это одна из самых маленьких крепостей очень давней постройки. Просто, когда смотришь издали, она впечатляет, – ответил капитан и, подумав, добавил: – Да, очень уж она старая, устаревшая во всех отношениях.

– Но ведь она – одна из главных, правда?

– Нет-нет, это крепость второй категории, – ответил Ортиц. Казалось, ему доставляет удовольствие говорить о Крепости плохо, но тон у него при этом был какой-то особый: так порой отец любит подчеркивать недостатки своего сына, ибо уверен, что они – ничто по сравнению с его неисчислимыми достоинствами.

– Здесь у нас участок мертвой границы, – добавил капитан. – Ее никогда не пересматривали, и она осталась, какой была сто лет назад.

– Что значит: мертвая граница?

– Граница, о которой можно не заботиться. За ней – сплошная пустыня.

– Пустыня?

– Да уж, камни и иссушенная земля. Она называется Татарской пустыней.

– Почему Татарской? – спросил Дрого. – Здесь что, были татары?

– В древние времена, возможно, и были. Но, скорее всего, это легенда. Ни в одну из войн никто к нам не подходил с той стороны.

– Значит, Крепость никому не была нужна?

– Никому, – ответил капитан.

По мере того как дорога уходила вверх, деревьев становилось все меньше, и наконец их вовсе не стало; то там, то здесь виднелись лишь редкие кусты. А дальше тянулись выжженные солнцем луга, скалы, осыпи краснозема.

– Простите, господин капитан, а есть здесь поблизости какие-нибудь деревни?
– Поблизости нет. Есть тут одна деревушка – Сан-Рокко, но до нее километров тридцать будет.

– В общем, как я вижу, не очень-то у вас повеселишься.

– Да уж, действительно, не очень.

В воздухе посвежело, склоны гор стали более покатыми, появилось ощущение, что до последних гребней уже недалеко.

– И не скучно вам там, господин капитан? – спросил Джованни доверительным тоном, усмехаясь и как бы желая сказать, что его-то такие вещи мало беспокоят.

– Дело привычки, – ответил Ортиц и добавил назидательно: – Я здесь уже около восемнадцати лет, хотя что я говорю – ровно восемнадцать.

– Восемнадцать лет?! – удивленно воскликнул Джованни.

– Восемнадцать, – подтвердил капитан.

Стая ворон пролетела у них над головой и скрылась в глубине лощины.

– Вороны, – произнес капитан.

Джованни не отозвался, он думал о том, какая жизнь его здесь ждет, чувствовал, как чужд ему этот мир, это одиночество, эти горы.

– А из младших офицеров, – спросил он, – потом кто-нибудь остается?

– Теперь-то немногие, – ответил Ортиц, уже жалея, что так нелестно говорил о Крепости, ибо заметил, что у Джованни сложилось о ней превратное представление. – В общем, почти никто. Всем подавай блестящую гарнизонную жизнь. Когда-то служить в крепости Бастиани почитали за честь, а теперь эту службу отбывают вроде как наказание.

Джованни слушал молча, но капитан не унимался:

– Мы ведь на границе служим. И кадры у нас в основном отборные. Граница есть граница. Да уж...

Дрого молчал, на душе у него вдруг стало нехорошо. Горизонт раздвинулся, вдали вырисовывались замысловатые силуэты скалистых гор, на фоне неба громоздились отдельные острые пики.

– Сейчас и в армии на все смотрят по-другому, – продолжал Ортиц. – Да, было время, когда служба в крепости Бастиани считалась очень почетной, а теперь говорят: мертвая граница, мертвая граница, но нельзя же забывать, что и на мертвой границе может случиться всякое, ничего не узнаешь наперед.

Дорогу пересек ручей. Они остановились, чтобы напоить коней, а сами, спешившись, стали разминать затекшие ноги.

– Зато знаете, что у нас действительно первоклассное? – со смехом спросил Ортиц.

– Что, господин капитан?

– Кухня. Вот увидите, какая в Крепости кормежка. Да уж... Из-за этого и частые смотры: каждые две недели обязательно какой-нибудь генерал наезжает.

Дрого из вежливости посмеялся. Он никак не мог понять, то ли Ортиц дурак, то ли скрывает что-то, то ли просто болтает, что на ум взбредет.

– Вот и отлично, – сказал он, – я ужасно проголодался!

– Ну теперь уж немного осталось. Видите вон тот бугор с осыпью? Прямо за ним Крепость.

Снова тронулись в путь. За бугром с осыпью галечника офицеры действительно сразу же выбрались на слегка наклонное плато и впереди, метрах в пятистах, увидели Крепость.

Она и впрямь была много меньше, чем показалось Дрого накануне вечером. От центрального форта – по виду это была обычная казарма с окнами, прорезанными на большом расстоянии одно от другого, – отходили две невысокие зубчатые стены, связывавшие строение с боковыми редутами: их было по два с каждой стороны. Таким образом, крепостные стены являли собой весьма ненадежную защиту стиснутого с обеих сторон высокими отвесными скалами перевала шириной примерно в полкилометра.

Справа, у самого подножия крутого склона, на плато была впадина, что-то вроде седловины: там когда-то проходила древняя дорога через перевал, теперь она упиралась в стену Крепости.

Форт был погружен в тишину и залит не дававшим тени полуденным солнцем. По обе стороны от него тянулись голые желтоватые стены (фасад, обращенный на север, увидеть было невозможно). Из трубы шел едва заметный дым. Вдоль всей верхней кромки центрального здания, стен и редутов ходили размеренным шагом взад-вперед десятки часовых с винтовками – каждый на своем небольшом участке. Их движение, напоминавшее раскачивание маятника, как бы отмеряло ход времени, не нарушая магических чар всепоглощающего одиночества.

Справа и слева, насколько хватал глаз, тянулись цепи крутых и, судя по всему, неприступных гор. И они тоже, по крайней мере в этот час дня, казались желтыми и выжженными.

Джованни Дрого непроизвольно остановил коня. Медленно скользя взглядом по мрачным стенам, он никак не мог сообразить, что они ему напоминают. В голову лезли мысли о тюрьме или о каком-то заброшенном королевском замке. Легкий ветерок пошевелил над фортом поникший и сливавшийся с флашштоком флаг. Послышался отдаленный голос трубы. Часовые продолжали ходить своим размеренным шагом. На плацу перед входом три или четыре человека (на расстоянии невозможно было различить, солдаты это или нет) грузили на телегу мешки. Но все вокруг пребывало в каком-то странном оцепенении.

Капитан Ортиц тоже остановился и посмотрел на Крепость.

– Вот она, – непонятно зачем пояснил он.

Дрого подумал: сейчас он спросит, как она мне нравится, и от одной этой мысли ему стало не по себе. Но капитан промолчал.

Нет, крепость Бастиани с ее невысокими стенами не отличалась внушительностью, не было в ней ни красоты, ни живописности, которые придают таким сооружениям башни и бастионы, не было ничего, совершенно ничего, что могло бы скрасить эту наготу, порадовать глаз. И все-таки Дрого, как и накануне, когда словно зачарованный смотрел на Крепость из глубины ущелья, почувствовал, как его сердце наполняется неизъяснимым восторгом.

А что же там, дальше? За этим неприветливым строением, за этими зубцами, казематами, пороховыми погребами, загораживающими обзор? Какой мир откроется за ними? Как выглядит северное королевство, каменистая пустыня, которую никто и никогда не пересекал? На карте, смутно припоминал Дрого, по ту сторону границы тянулся обширный район с очень редкими обозначениями, но, может, с высоты Крепости все-таки удастся разглядеть какое-нибудь селение, луг, дом? Или там одна только безжизненная пустыня?

Он вдруг почувствовал свое одиночество, и весь армейский кураж – столь естественный прежде, когда казарменная жизнь текла без тягот и забот, когда у него был уютный дом, веселые, компанейские приятели и маленькие ночные приключения в садах, – внезапно слетел с него. Крепость предстала перед ним как один из тех неведомых миров, о причастности к которым он никогда и не помышлял, но не потому, что к ним душа не лежала, просто они были бесконечно чужды ему и далеки от его привычной жизни. И этот мир обязывал к очень многому, не суля ничего, что выходило бы за рамки его прямолинейных законов.

Вернуться! Не переступив даже порога Крепости, вернуться на равнину, в свой город, к старым привычкам. Вот первое, о чем подумал Дрого: пускай подобная слабость постыдна для солдата, он даже был готов, если нужно, открыто в ней признаться, лишь бы ему разрешили поскорее уехать.

С севера надвигался плотный белый туман, закрывая горизонт и наполняя эскарпы, а под стоящим в зените солнцем невозмутимо, словно автоматы, отмеривали свои шаги часовые. Конь Дрого заржал. И вновь воцарилась великая тишина.

Наконец Джованни оторвал взгляд от Крепости и покосился на капитана, надеясь услышать от него ободряющие слова. Ортиц тоже стоял неподвижно и пристально разглядывал желтые стены. Он, проживший здесь восемнадцать лет, смотрел на них так, словно ему явилось чудо. Казалось, капитану никогда не надоест любоваться ими, и улыбка – радостная и в то же время грустная – тихо светилась на его лице.

III

Сразу же по прибытии Дрого явился к старшему адъютанту майору Матти. Лейтенант караульной службы – приветливый и разбитной молодой человек по имени Карло Морель – взялся проводить его по центральной части Крепости. Через подворотню в глубине большого пустынного двора они попали в широкий и бесконечно длинный коридор. Потолок его тонул в полумраке, кое-где прорезаемом тонкими полосками света из узеньких окошек.

Только на втором этаже им попался навстречу какой-то солдат с пачкой бумаг. Голые стены, сырость, тишина, тусклый свет – казалось, все здесь давно забыли, что где-то в мире еще растут цветы, смеются женщины, гостеприимно распахивают свои двери дома. Все в этой Крепости было проникнуто духом самоотречения, но во имя чего, ради какого такого блага?

Они уже поднялись на третий этаж и шли по коридору, который был точной копией того, нижнего. Иногда откуда-то из-за стен до них долетал приглушенный расстоянием смех, звучавший здесь как-то неправдоподобно.

Майор Матти оказался толстяком с преувеличенно радушной улыбкой. Он сидел в просторном кабинете за большим письменным столом с аккуратно разложенными на нем бумагами. На стене висели выполненный в масле портрет короля и сабля майора, для которой был вбит специальный колышек.

Дрого отдал честь, представился и, протянув свои документы, стал объяснять, что вовсе не просил назначения в Крепость (для себя он уже решил, что при первой же возможности переведется в другое место), но Матти перебил его:

– А я ведь знавал вашего отца, лейтенант. Благороднейший был человек. Уверен, вы окажетесь достойны его памяти. Если не ошибаюсь, он был председателем Верховного суда?

– Нет, господин майор, – ответил Дрого, – мой отец был врачом.

– Ах да, черт возьми, я все спутал, конечно же врачом, конечно.

Матти на какое-то мгновение смешался, а Дрого успел заметить, что он все время подносит левую руку к воротничку, пытаясь прикрыть круглое жирное и явно свежее пятно на груди. Но майор быстро овладел собой.

– Рад видеть вас здесь, – продолжал он. – Знаете, что сказал Его величество Пьетро Третий? «Крепость Бастиани – оплот моей короны». А я могу добавить, что служить в этой Крепости – большая честь. Надеюсь, вы разделяете мое мнение, лейтенант?

Все это он произносил явно по привычке, как давным-давно затверженный урок, который время от времени приходится повторять.

– Так точно, господин майор, – сказал Джованни, – вы совершенно правы, но, должен признаться, для меня все это несколько неожиданно. В городе я оставил семью и, если возможно, предпочел бы...

– О, да вы, не успев приехать, уже хотите нас покинуть. Так, что ли? Признаюсь, меня это огорчает, весьма огорчает.

– Дело не в моих желаниях. Я не смею обсуждать... я хотел только...

– Все ясно, – произнес майор со вздохом, как бы давая понять, что такие речи для него не новы и он даже готов войти в положение... – Все ясно: вы иначе представляли себе Крепость и сейчас немного обескуражены. Но скажите честно: как вы можете судить о ней, если прибыли всего несколько минут назад? Только честно...

– Господин майор, – ответил Дрого, – я ничего не имею против Крепости... Совершенно ничего. Но я предпочел бы служить в городе или хотя бы поближе к нему. Поймите меня. Я с вами вполне откровенен и рассчитываю на вашу помощь...

– Ну конечно, конечно! – воскликнул Матти, хохотнув. – Для того нас сюда и поставили! Силком мы никого не держим, даже часовых. Просто мне жаль, по моему, вы хороший парень...

Майор минутку помолчал, словно подыскивая выход. И в это время Дрого, слегка повернув голову налево, посмотрел в окно, выходящее во внутренний двор, и увидел противоположную стену, такую же, как и остальные, желтоватую, залитую солнцем, с немногочисленными черными прямоугольниками окон. И еще часы, показывавшие два пополудни, часового, с винтовкой на плече прохаживающегося взад-вперед по стене, а над зданием, вдали, в жарком дневном мареве – скалистую гору. Была видна только ее вершина, сама по себе не представлявшая ничего особенного. И все же этот скалистый пик стал для Джованни Дрого первой видимой интригующей приметой легендарного северного государства, которое угрожало Крепости. А что же там, дальше? Какой-то тусклый свет, пробиваясь сквозь тягучую дымку, шел оттуда. Тут майор вновь заговорил:

– Скажите, вы непременно хотите уехать отсюда тотчас же или, может, подождете несколько месяцев? Нам, повторяю, все равно... с формальной точки зрения, разумеется, – добавил он, чтобы слова его не прозвучали совсем уж невежливо.

– Ну, раз я могу уехать, – ответил Джованни, приятно удивленный отсутствием каких-либо препон, – раз я могу уехать, то, пожалуй, лучше это сделать сразу.

– Будь по-вашему, – успокоил его майор. – Но тогда, если уж вы решили уехать тотчас, вам лучше сказать больным. Ляжете в изолятор, понаблюдаетесь там пару дней и получите справку от врача. Многие ведь не выдерживают высокогорного климата...

– Неужели обязательно притворяться больным? – спросил Дрого, не любивший всяких махинаций.

– Обязательно? Нет! Но это значительно все упростит. В противном случае вам следует подать рапорт с просьбой о переводе, рапорт этот надо будет переслать Верховному командованию, потом ждать, когда Верховное командование даст ответ, в общем, на это уйдет не меньше двух недель. Но, главное, в дело придется вмешаться господину полковнику, а вот этого я бы как раз хотел избежать. Такие вещи ему не по душе, он очень переживает, да-да, именно переживает, воспринимая все это как оскорбление своей Крепости. Так вот, на вашем месте – говорю вам со всей откровенностью – я бы постарался избежать...

– Простите, господин майор, – ответил Дрого, – я же не знал... Если мой отъезд может мне повредить, тогда другое дело.

– Ни в коем случае, лейтенант. Вы меня не поняли. Ваша карьера никак от этого не пострадает. Тут... как бы получше объяснить... этакий нюанс, что ли... Конечно, как я вам уже сказал, господину полковнику подобная история не доставит удовольствия. Но если вы твердо решили...

– Нет-нет, – откликнулся Дрого, – если все обстоит так, как вы сказали, то лучше уж мне получить медицинскую справку.

– Если только... – Матти вкрадчиво улыбнулся и не закончил фразу.

– Что?...

– Если только вы не согласитесь остаться здесь на четыре месяца, что было бы самым лучшим выходом из положения.

– На четыре месяца? – переспросил Дрого, несколько разочарованный: ведь перед ним уже открывалась перспектива близкого отъезда.

– Четыре месяца, – подтвердил Матти. – Тогда вся процедура значительно упростится. Понимаете, у нас дважды в году все проходят медицинское освидетельствование. Это предписывается уставом. Очередное будет через четыре месяца. Для вас, по-моему, это самый лучший вариант. А уж о том, чтобы комиссия признала вас негодным к службе в наших условиях, позвольте позаботиться мне. Вы можете быть абсолютно спокойны. Кроме того, – продолжал он после небольшой паузы, – четыре месяца – это четыре месяца, их вполне достаточно для выдачи характеристики. Не сомневаюсь, что господин полковник вам ее даст. Сами знаете, какое значение имеет для вашей карьеры отзыв с первого места службы. Но давайте условимся, чтобы не было недоразумений: это всего лишь мой совет, а уж вы вольны решать...

– Да, господин майор, – ответил Дрого. – Я очень хорошо вас понял.

– Жизнь у нас нетяжелая, – произнес майор с нажимом, – главное наше дело – нести караульную службу. А Новый редут, где ответственности побольше, вам, как новичку, конечно, не доверят. Ничего трудного, можете не беспокоиться. Вот разве что скучновато вам покажется...

Но Дрого уже почти не слушал: его внимание почему-то приковывал прямоугольник окна и видневшийся над противоположной стеной Крепости скалистый пик. Какое-то странное, безотчетное чувство закралось в душу Джованни, этакий, возможно, даже глупый, абсурдный, не имеющий под собой никакой почвы интерес.

И в то же время он как будто немного успокоился. Ему все еще хотелось уехать отсюда, но не так страстно, как раньше. Он уже чуть ли не стыдился отчаяния,

охватившего его в первый момент. Что же он, хуже других? Немедленный отъезд, думал он теперь, выглядел бы как признание собственной неполноценности. Так самолюбие боролось в нем с тягой к привычной домашней жизни.

– Господин майор, – сказал Дрого. – Я благодарен вам за советы, но позвольте мне подумать до завтра.

– Вот и отлично! – откликнулся Матти, не скрывая своего удовлетворения. – А как быть сегодня вечером? Хотите, чтобы вас представили полковнику за столом, или предпочитаете оставить вопрос открытым?

– Ну что ж, – ответил Джованни, – я полагаю, прятаться бессмысленно, особенно если я все же решу задержаться на четыре месяца.

– Пожалуй, вы правы, – сказал майор. – Так вы будете чувствовать себя увереннее. Вот увидите, какой у нас славный народ, а офицеры... настоящая гвардия.

Матти улыбнулся, и Дрого понял, что пора уходить, но он все же спросил, стараясь говорить как можно спокойнее:

– Господин майор, можно мне взглянуть на север? Хочется посмотреть, что там, за стенами.

– За стенами? – удивился майор. – Вас что, привлекают красоты местности?

– Один только взгляд, господин майор, просто из любопытства. Говорят, там пустыня, а я еще никогда не видел пустынь.

– Она не стоит вашего внимания, лейтенант. Однообразный пейзаж, совершенно ничего интересного. Напрасная трата времени, уверяю вас.

– Я не настаиваю, господин майор, – ответил Дрого. – Я не знал, что это сопряжено с какими-то трудностями.

Майор Матти почти что молитвенно сложил свои пухлые пальцы.

– Пожалуй, это, – сказал он, – единственная вещь, которую я не могу вам позволить. На стены и в караульные посты допускаются только лица, несущие службу: нужно знать пароль.

– И никаких исключений, даже для офицера?

– Даже для офицера. Ах, я-то вас понимаю: вам, городским, подобные мелочи кажутся смешными. И пароль там у вас не такая уж великая тайна. А здесь дело другое.

– Простите мою назойливость, господин майор...

– Слушаю, слушаю вас, лейтенант.

– Я хотел спросить, неужели здесь нет никакой амбразуры, никакого окна, откуда бы я мог взглянуть...

– Есть одно. И то в кабинете господина полковника. Увы, никто не позаботился о бельведере для любопытствующих. Да и не стоит она того, эта панорама, ничего примечательного в ней нет. Если вы решите здесь остаться, она вам еще надоеет.

– Спасибо, господин майор. Какие будут распоряжения? – спросил Дрого, вытягиваясь в струнку.

Матти дружески махнул рукой.

– До свидания, лейтенант. И выкиньте это из головы. Банальнейший, ничем не примечательный пейзаж, поверьте на слово.

Но в тот же вечер лейтенант Морель, сдав дежурство по охране, тайком отвел Дрого на стену.

Длинный коридор, освещенный редкими фонарями, тянулся вдоль всех стен – от одного конца перевала до другого. Время от времени на пути попадались двери: склады, мастерские, караулки. До третьего редута пришлось пройти метров сто пятьдесят, не меньше. У дверей стоял вооруженный часовой. Морель попросил вызвать начальника караула лейтенанта Гротту.

Так, в нарушение устава, они выбрались на стену. Сначала Джованни оказался в тесном проходе, где под фонарем висел список караульных.

– Ну идем же! – окликнул его Морель. – Не дай Бог, кто нагрянет.

Дрого последовал за ним по узкой лесенке, которая вела наверх, на открытый воздух, на эскарп. Охранявшему этот участок часовому Морель сделал знак, как бы говоря, что формальности тут ни к чему.

Вдруг перед Джованни выросли зубцы наружной стены, а за ними, вся в закатном зареве, простерлась равнина, открыв наконец взгляду таинственный север.

Дрого даже слегка побледнел, в оцепенении созерцая эту картину. Ближайший к нему часовой тоже застыл неподвижно, а на крылах сумерек опустилась, окутала все вокруг великая тишина. Не в силах отвести взгляд, Дрого спросил:

– А дальше? Что там, за этими скалами? Всё вот так – до самого конца?

– Никогда не видел, – ответил Морель. – Для этого нужно побывать на Новом редуте, вон на той вершине. Оттуда просматривается вся равнина. Говорят...

Морель осекся.

– Что говорят? – спросил Дрого, и голос его дрогнул, выдавая какое-то странное волнение.

– Говорят, там сплошные камни, что-то вроде пустыни... И камни эти, говорят, белые, будто снег.

– Сплошные камни? И все?

– Так говорят. А кое-где еще и болота.

– Но там, вдалеке, на самом севере, можно все-таки что-нибудь разглядеть?

– Горизонт обычно в тумане, – сказал Морель, почему-то растерявший всю свою приветливость и бесшабашность. – Из-за этих северных туманов ничего не видно.

– Туманы! – воскликнул Дрого. – Но не всегда же они там, бывают же, наверно, и ясные дни.

– Почти не бывают – даже зимой. Но некоторые утверждают, будто видели...

– Видели? Что?

– Да пригрезилось им все, пригрезилось: разве можно верить солдатам? Один говорит одно, другой – другое. Кто уверяет, что видел белые башни, а кто говорит, будто разглядел курящийся вулкан – оттуда, мол, и туманы. Сам Ортиц, наш капитан, утверждает, что он видел... лет пять назад... Если верить ему, так там есть какое-то продолговатое черное пятно – леса, должно быть.

Они помолчали. Где же Дрого мог все это видеть? Может, во сне? Или нарисовал в воображении, прочитав какую-нибудь старую сказку? Казалось, он узнал эти рассыпающиеся невысокие скалы, извилистую долину без всякой растительности, без единого зеленого пятнышка, ломаные линии обрывов и, наконец, этот треугольник безлюдной пустыни, просматривающийся между

торчащими впереди скалистыми выступами гор. Все, что он видел, рождало непонятный отзвук в самой глубине его души, но разобраться в своих чувствах он не мог.

Дрого разглядывал сейчас уголок северного мира, мертвую равнину, которую, как считают, никогда никто не пересекал. Никогда с той стороны не подходили враги, никогда там не было никаких сражений, никогда ничего не случилось.

– Ну как? – спросил Морель, стараясь, чтобы голос его звучал бодро. – Ну как? Нравится?

– Да-а-а!... – только и смог вымолвить Дрого. Какие-то неясные желания бушевали у него в груди, смешиваясь с безотчетным страхом.

Откуда-то до них донесся короткий сигнал трубы.

– Теперь тебе лучше уйти, – посоветовал Морель.

Но, погруженный в себя и упорно пытающийся что-то вспомнить, Джованни будто и не слышал его. Закат постепенно угасал, ветер, пробужденный тенями, овеивал кубические строения Крепости. Часовой, чтобы согреться, стал вновь вышагивать взад-вперед, то и дело поглядывая на незнакомого ему Джованни Дрого.

– Теперь тебе лучше уйти, – повторил Морель, беря товарища под руку.

IV

Дрого не боялся оставаться один: как-то, еще ребенком, он заблудился за городом, случалось ему бродить и по ночным улицам – этому царству преступности. Или взять хоть вчерашний вечер, когда ему пришлось заночевать на дороге... Но сейчас было совсем не то, сейчас, когда улеглось возбуждение от долгого путешествия и его новые товарищи уже спали, он, грустный и растерянный, сидел при свете лампы у себя в комнате на краю постели: вот когда он по-настоящему понял, что такое одиночество. (Комната была, в общем, неплохая, с обшитыми деревом стенами, большой кроватью, громоздким диваном и шкафом.) Встретили Джованни радушно, за столом распили в его честь бутылочку, но потом и думать о нем забыли (над кроватью висело деревянное распятие, на противоположной стене – старинная гравюра с длинной эпитафией, начало которой гласило: «Humanissimi Viri Francisci Angloisi virtutibus»^[11]). За всю ночь никто не придет его проведать, во всей Крепости никто о нем и не вспомнит. Да какое там в Крепости – в целом свете, наверно, не найдется живой души, которой есть дело до него, Джованни Дрого; каждый едва успевает о себе позаботиться; даже мама, да, возможно, даже она в эту минуту думает о другом – ведь он у нее не один. О Джованни она вспоминала весь день, теперь надо уделить немного внимания и остальным. И это более чем справедливо, признавал Дрого без тени обиды, но ведь именно он, а не кто-то другой сидит сейчас в Крепости на краю кровати (теперь он заметил еще, что на деревянной обшивке стены тщательно вырезана в натуральную величину и раскрашена, ну прямо как настоящая, сабля – этакий плод кропотливого труда какого-нибудь офицера, жившего здесь Бог знает сколько лет тому назад), да, сидит на краю кровати, склонив голову, ссутулившись, тупо и бессмысленно глядя по сторонам, и чувствует себя как никогда одиноким.

Наконец, сделав над собой усилие, Дрого поднялся, открыл окно, выглянул наружу. Окно выходило во двор, и ничего, кроме двора, не было видно. Поскольку оно было обращено на юг, Джованни попытался разглядеть в темноте горы, которые ему пришлось преодолевать по пути в Крепость; частично скрытые противоположной стеной, они казались ниже.

Свет горел только в трех окнах, но все они находились на одном фасаде, и заглянуть в них было невозможно. Свет из них так же, как и из его окна, падал на противоположную стену огромными вытянутыми прямоугольниками, в одном из которых двигалась тень: наверно, какой-нибудь офицер готовился ко сну.

Дрого закрыл окно, разделся, лег в постель и несколько минут предавался размышлениям, глядя в потолок, тоже обшитый деревом. Он забыл взять с собой что-нибудь почитать, но в этот вечер можно было обойтись и без чтения – очень уж хотелось спать. Дрого погасил лампу. Постепенно в темноте стал проступать светлый прямоугольник окна, и он увидел мерцание звезд.

Навалившееся на него оцепенение, казалось, уже граничит со сном. Только слишком уж отчетливо он это сознавал. Сумбурные, похожие на сновидение картины поплыли у него перед глазами и начали даже складываться в какую-то историю, но через несколько мгновений он заметил, что все еще бодрствует.

И вообще спать расхотелось – так поразила его всеобъемлющая тишина. Далеко-далеко – уж не почудилось ли ему? – кто-то кашлянул. Потом рядом раздалось слабое хлюпанье воды, отраженное стенами. Маленькая зеленоватая звезда (он видел ее, не поднимая головы) в своем ночном движении уже добралась до верхнего угла окна: скоро она исчезнет. И действительно, сверкнув искрой у самого края темной рамы, звезда пропала. Дрого захотелось еще немного проследить за ней взглядом, и он вытянул шею. В этот момент опять послышалось «хлюп» – такой звук издает шлепающийся в воду предмет. Интересно, повторится он еще? Дрого напряг слух и стал ждать: не раздастся ли еще этот звук, наводящий на мысли о подземельях, трясине, заброшенных домах. Время замерло, абсолютная тишина, казалось, окончательно завладела Крепостью. И снова в мозгу зароились бессвязные картины прежней далекой жизни.

«Хлюп!» Оять этот противный звук. Дрого сел. Выходит, он регулярно повторяется; последнее хлюпанье было не слабее прежних, следовательно, рассчитывать на то, что его невидимый источник иссякнет, не приходилось. Разве тут уснешь? Дрого вспомнил, что рядом с кроватью висит шнурок – может, это колокольчик? Он потянул за него, шнурок поддался, и где-то в лабиринтах здания послышалось едва различимое короткое треньканье. Какая глупость, опомнился Дрого, тревожить людей из-за чепухи. Впрочем, вряд ли кто придет.

Однако довольно скоро в коридоре прозвучали приближающиеся шаги, и наконец кто-то постучал в дверь.

– Войдите! – сказал Дрого.

На пороге вырос солдат с фонарем в руке.

– Слушаю вас, господин лейтенант!

– Здесь невозможно спать, черт побери! – сдерживая ярость, воскликнул Джованни. – Что это за отвратительный звук? Может, подтекает какая-нибудь труба? Проверь и прекрати это безобразие. Совершенно невозможно уснуть. Бывает, достаточно просто тряпку подложить.

– Это цистерна, – тотчас ответил солдат, словно знал заранее, о чем речь. – Это цистерна, господин лейтенант, ничего не поделаешь.

– Цистерна?

– Да, господин лейтенант, – пустился в объяснения солдат, – как раз за этой стенкой находится цистерна с водой. Все жалуются, но ничем тут помочь нельзя. Не только у вас слышно. И господин капитан Фонцазо иногда ругается, да только ничего не поделаешь.

– Ладно, тогда ступай! – сказал Дрого.

Дверь закрылась, шаги стихли, и вновь разлилась тишина; по-прежнему в окне блестели звезды. Теперь Джованни думал о часовых, ходивших в нескольких метрах от него, словно заведенные, туда-сюда, без перерыва. Десятки людей бодрствуют, а он лежит в постели, считая, что все вокруг погружено в сон. Да, десятки, думал Дрого, но кому это нужно и для чего? Военный формализм в Крепости доведен, похоже, до абсурдного совершенства. Сотни людей охраняют перевал, через который никто не собирается переходить! Уехать отсюда, уехать как можно скорее, думал Джованни, выбраться на свежий воздух, подальше от этого странного места. О милый родной дом! Мама сейчас, конечно, уже спит, свет всюду погашен. А вдруг именно в эту минуту она вспомнила о нем? Очень даже вероятно, он хорошо ее знает: любая мелочь может так ее разволновать, что ночью она не находит себе покоя – все ворочается в постели.

Еще раз хлюпнула цистерна, еще одна звезда ушла за раму окна: свет ее продолжал достигать земли, эскарпов Крепости, беспокойных глаз часовых, но только не Джованни Дрого, который ждал сна и никак не мог уснуть от терзавших его недобрых мыслей.

А что, если все заверения Матти – просто-напросто комедия? Что, если его не отпустят отсюда и через четыре месяца? Можно ведь придумать массу предлогов, сослаться на здешние порядки и не разрешить ему вернуться в город. А если ему суждено прожить здесь долгие годы и вот в этой комнате, на этой холодной постели провести всю свою молодость? Какой абсурд, думал Дрого, сознавая, сколь нелепы его предположения, и все же не мог совсем отогнать тревожные мысли: они вновь и вновь овладевали им, усугубляемые одиночеством и темнотой.

Вдруг ему начинало казаться, что против него замышляются какие-то козни, цель которых – задержать его здесь. И зависит это, скорее всего, даже не от Матти. Ни ему, ни полковнику, ни кому-либо из прочих офицеров нет никакого дела до Дрого: останется он или уедет – им совершенно безразлично. И все же какая-то неведомая сила препятствует его возвращению в город; возможно, хотя сам он того не замечал, она гнездится в его собственной душе.

Потом Джованни увидел какой-то портик, коня на белой дороге, ему почудилось, что кто-то зовет его по имени, и он погрузился в сон.

V

На следующий вечер Джованни Дрого впервые принял дежурство на третьем редуте. В шесть часов вечера во дворе были построены семь караульных отрядов: три для форта, четыре для фланговых редутов. Восьмой отряд, предназначавшийся для Нового редута, выступил раньше: дорога туда занимала довольно много времени.

Ветеран Крепости старший сержант Тронк повел на третий редут двадцать восемь человек, с горнистом – двадцать девять. Все они были из второй роты капитана Ортица, куда получил назначение и Джованни. Дрого принял командование караулом и вынул из ножен шпагу. Семь заступающих в караул отрядов были выстроены перпендикулярно к зданию форта, а комендант Крепости, полковник, наблюдал за ними из окна – такая здесь была традиция. На желтой утрамбованной земле двора образовался красивый черный рисунок.

Очищенное ветром небо над Крепостью сияло, а последние солнечные лучи рассекали наискосок ее стены. Стоял сентябрьский вечер. Заместитель коменданта подполковник Николози, опираясь на шпагу и прихрамывая – старая рана, – вышел

из дверей комендатуры. В тот день поверяющим был здоровенный капитан Монти. Он прокричал своим хриплым голосом команду, и солдаты, сделав одновременный выпад, с громким бряцанием вскинули оружие для проверки. После чего наступила полная тишина.

И тут трубачи семи караульных отрядов один за другим проиграли соответствующий сигнал. Пели знаменитые серебряные трубы крепости Бастиани, украшенные шелковыми красно-золотыми шнурами и большими гербами. Их чистый голос взмыл в небо, и неподвижный частокол штыков откликнулся на него звуком, отдаленно напоминавшим звон колокола. Солдаты замерли как изваяния, лица их были по-военному суровы. Нет, они явно готовились не к будничной караульной службе: с таким геройским блеском в глазах можно ждать только встречи с неприятелем.

Последняя нота долго висела в воздухе, отраженная дальними стенами. Штыки, еще мгновение назад блестящие на фоне бездонного неба, одновременно погасли, потонув в шеренгах солдат. Полковника в окне уже не было. Все семь отрядов, печатая шаг, направились по лабиринтам Крепости в разные стороны – каждый к своей стене.

Через час Джованни Дрого был на верхней площадке третьего редута, в том самом месте, откуда он накануне вечером смотрел на север. Вчера его, словно случайного путешественника, привело сюда любопытство, теперь же он здесь хозяин: в ближайшие двадцать четыре часа весь редут и сто метров стены будут подвластны ему одному. Под ним, в капонире, четверо артиллеристов дежурили у двух пушек, нацеленных в глубь долины; трое часовых заняли свой пост на внешней площадке редута; еще четверо расположились через каждые двадцать пять метров на правом крыле главной стены.

Смена караула была произведена в высшей степени четко под надзором старшего сержанта Тронка – большого специалиста по уставу и строевой подготовке. Тронк служил в Крепости двадцать два года и теперь не покидал ее даже на время отпуска. Никто лучше его не знал каждого уголка крепостных сооружений, и нередко офицеры видели, как он обходит дозором Крепость по ночам в абсолютной темноте, даже без фонарика. Часовые в его дежурство ни на минуту не выпускали из рук винтовок, не прислонялись к стенам и старались даже не останавливаться, ибо по уставу остановки разрешались лишь в исключительных случаях; ночи напролет Тронк не спал и бесшумно обходил сторожевые посты, заставляя часовых вздрагивать от неожиданности. «Стой, кто идет?» – окликали они его, вскидывая винтовки. «Грот», – произносил пароль старший сержант. «Грегорио», – откликался часовой.

Вообще-то офицеры и унтеры, несшие караульную службу, проверяли свои участки крепостной стены, не соблюдая особых формальностей; солдаты хорошо знали их в лицо, и всякие пароли и отзывы казались им нелепыми. Только с Тронком солдаты соблюдали все уставные тонкости.

Тронк, маленький и щедушный, со старческим личиком и бритой головой, редко вступал в разговоры и все свободное время, уединившись, посвящал музыке. Музыка была его страстью, а капельмейстер сержант Эспина, пожалуй, единственным его другом. У Тронка был прекрасный аккордеон, но он почти никогда к нему не прикасался, хотя все знали, что играет он превосходно. Тронк изучал гармонию и, если верить слухам, сочинил несколько военных маршей. Однако за точность этих слухов никто бы не поручился.

В часы отдыха Тронк частенько насвистывал, но на дежурстве никогда себе этого не позволял. Большею частью он ходил вдоль зубчатых стен, пристально глядя на север, на равнину, будто ища что-то глазами. Сейчас он стоял рядом с Дрого и указывал ему на выючную тропу, которая вела к Новому редуту, петляя по отвесным склонам гор.

– Вон идет сменный караул, – сказал Тронк, ткнув куда-то указательным пальцем.

Но в неверном свете сумерек Дрого ничего не смог разглядеть. Старший сержант покачал головой.

– Что такое? – спросил Дрого.

– Непорядок, службу так не несут. Я всегда говорил. Идиотство какое-то, – ответил Тронк.

– Да что случилось?

– Службу так не несут, – повторил Тронк. – Смену караула на Новом редуте нужно производить раньше. Но это неуютно господину полковнику.

Джованни удивленно посмотрел на него: неужто у Тронка хватает смелости осуждать самого коменданта?

– Господин полковник, – продолжал старший сержант очень серьезно и убежденно, нисколько не смущаясь противоречивостью своих слов, – в общем-то совершенно прав. Но ведь никто не предупредил его об опасности.

– Об опасности? – удивился Дрого.

Какая опасность могла подстерегать тех, кто направлялся из Крепости в Новый редут по удобной тропе и в таком пустынном месте?

– Да, об опасности, – подтвердил Тронк. – Рано или поздно в такой темноте что-нибудь случится.

– А что же делать? – спросил Дрого больше из вежливости: все эти рассуждения мало его занимали.

– В прежние времена, – сказал старший сержант, обрадовавшись возможности продемонстрировать свою компетентность, – в прежние времена караул на Новом редуте сменялся на два часа раньше, чем в Крепости. И всегда при дневном свете, даже зимой. С паролями тоже все было проще. Достаточно было знать пароль, чтобы войти в Редут, и новый пароль – для дежурства и возвращения в Крепость. Двух паролей хватало. Когда сменившийся караул возвращался в Крепость, здешний караул на дежурство еще не успевал заступить, и пароль оставался прежним.

– Ну да, понятно, – сказал Дрого, не особенно вдумываясь в его слова.

– Но потом, – продолжал Тронк, – здесь чего-то испугались. Неблагоразумно, мол, держать за стенами Крепости столько солдат, знающих пароль. Говорили: наперед не угадаешь, кто-нибудь из пятидесяти солдат скорее может оказаться изменником, чем единственный офицер.

– Ну да, – согласился Дрого.

– И тогда они решили: пусть пароль будет известен только командиру. И потому караул теперь выходит из Крепости за сорок пять минут до смены. Взять, к примеру, сегодняшний день.

Общая смена караула произведена в шесть часов. Наряд часовых для Нового редута вышел отсюда в пять пятнадцать и прибыл на место ровно в шесть. Чтобы выйти из Крепости, пароля не нужно, потому что отряд формируется здесь, а чтобы

войти в Новый редут, достаточно знать вчерашний пароль, который известен только офицеру. После смены караула на Редуте вступает в силу новый пароль – его тоже знает только офицер. Так проходят сутки – пока не прибудет новый наряд. А на следующий вечер, когда солдаты возвращаются (они могут прибыть сюда и в шесть тридцать, так как обратно идти легче), пароль в Крепости уже изменился. Таким образом, нужен третий пароль. Офицер должен знать их все три: один для прохода в Редут, второй на время несения караула, третий – для возвращения в Крепость. Сколько сложностей только для того, чтобы солдаты, находящиеся в пути, пароля не знали. Вот я и говорю, – продолжал Тронк, не заботясь о том, слушает ли его Дрого, – если пароль известен только офицеру, а ему, предположим, по пути стало худо, что прикажете делать солдатам? Не могут же они заставить его говорить? И вернуться туда, откуда они вышли, тоже не могут, потому что за это время пароль переменялся и там. Об этом кто-нибудь подумал? А те, кто настаивают на секретности? Разве они не понимают, что теперь введено три пароля вместо двух и этот третий, необходимый для возвращения в Крепость, устанавливается раньше чем за сутки? Что бы ни случилось, они обязаны его сохранить в тайне, иначе караульный отряд не сможет вернуться в Крепость.

– Но их же узнают у ворот, – возразил Дрого, – не так ли? Разве там не увидят, что это возвращается караул, сдавший дежурство?

Тронк поглядел на лейтенанта с чувством некоторого превосходства.

– Это невозможно, господин лейтенант, – сказал он. – В Крепости свои законы. С северной стороны без пароля сюда никто не может пройти. Кем бы он ни был.

– В таком случае, – заметил Дрого, возмущенный столь бессмысленными формальностями, – в таком случае не проще ли придумать для Нового редута особый пароль? Смену караула производить раньше, а пароль, необходимый для возвращения в Крепость, сообщать только офицеру. Солдаты же пусть ничего не знают.

– Разумеется! – торжествующе воскликнул старший сержант, словно только и ждал подобного возражения. – Такой выход действительно был бы самым лучшим. Но тогда пришлось бы менять устав, выработать новую инструкцию. Устав же гласит: «Пароль сохраняет силу на протяжении двадцати четырех часов – с момента выхода отряда на дежурство и до момента его сдачи; один и тот же пароль сохраняет силу как в Крепости, так и в ее подразделениях», – назидательным тоном отчеканил он. – Так прямо и записано: «в подразделениях». Коротко и ясно. Всякие подтасовки исключаются.

– Ну а до этого, – спросил Дрого, поначалу слушавший не очень внимательно, – до этого смена караула в Новом редуте тоже ведь производилась раньше?

– Конечно! – воскликнул Тронк, и тут же сам себя поправил: – Так точно, господин лейтенант. Всего два года, как началась эта история. Прежде было много лучше.

Старший сержант замолчал; Дрого смотрел на него с испугом. Что осталось от этого человека после двадцати двух лет службы в Крепости? Помнит ли Тронк, что где-то в мире еще существуют миллионы людей таких же, как он, но не носящих военную форму? Они свободно гуляют по городу, а вечерами сами решают, лечь ли им спать или пойти в остерию или в театр. Нет, одного взгляда на Тронка было достаточно, чтобы понять: о существовании других людей он позабыл, вся его жизнь – это только Крепость с ее отвратительными порядками. Тронк уже не помнил, как нежно звучат голоса девушек, как выглядят сады, реки, деревья, если не считать тех жалких кустиков, что росли возле Крепости. Да, Тронк, как и Дрого,

смотрел на север, но совсем иными глазами: он всматривался в тропу, ведущую к Новому редуту, и в ров, и в контрэскарп, прощупывал взглядом возможные подступы к Крепости, и что ему было до диких скал, до треугольника таинственной равнины и до белых облаков, плывущих теперь уже почти по ночному небу?

С наступлением темноты лейтенантом вновь овладело желание бежать отсюда. И почему я не уехал сразу? – корил он себя. Почему поддался коварной дипломатии майора? А теперь вот придется ждать, когда истекнут четыре месяца – сто двадцать бесконечно длинных дней, половину которых он проведет в карауле на крепостных стенах. Ему казалось, что он очутился среди людей какой-то совершенно другой породы, на чужой земле, в жестоком и враждебном ему мире. Блуждающий взгляд его вновь наткнулся на Тронка: тот, замерев, наблюдал за часовыми.

VI

Стало совсем темно. Дрого устроился в пустом помещении редута и велел принести себе бумагу, чернила и ручку.

«Дорогая мама», – вывел он и сразу же почувствовал себя мальчишкой. Никто его не видел, он сидел при свете фонаря один в самом сердце незнакомой ему Крепости, вдали от дома, от милых привычных вещей и утешал себя мыслью, что может наконец открыться, излить все, что у него на душе.

Конечно, с другими, со своими коллегами-офицерами он должен вести себя как настоящий мужчина, смеяться вместе с ними, рассказывать смелые анекдоты о генералах и женщинах. Кому, как не маме, может он открыть правду? А правда Дрого в этот вечер не была правдой храброго вояки и, очевидно, не отвечала суровым нравам Крепости: здесь все только посмеялись бы над ним. Правдой была усталость от дальней дороги, гнет мрачных стен, ощущение полного одиночества.

«Два дня, проведенные в пути, совсем измотали меня, – вот что хотел бы он написать, – а по прибытии я узнал, что при желании могу вернуться в город. Крепость – место унылое, поблизости нет никаких селений, никаких развлечений, в общем, ничего веселого». Вот что хотел бы он написать.

Но тут Дрого представил себе маму: в эту минуту она, должно быть, думает именно о нем и тешит себя мыслью, что сыну ее сейчас хорошо в кругу добрых друзей, а может – как знать? – и подруг. Конечно же, она надеется, что он доволен жизнью и спокоен.

«Дорогая мама, – выводила его рука. – Я прибыл к месту назначения позавчера, проделав интереснейшее путешествие. Крепость – это нечто грандиозное...» О, если бы он мог описать ей все убожество здешней обстановки, витающий в Крепости дух наказания и ссылки, этих чужих ему и каких-то нелепых людей. А он писал: «Офицеры приняли меня очень сердечно. И старший адъютант был со мной весьма любезен и предоставил мне полную свободу выбора: остаться здесь или вернуться в город. И все же...»

Может, как раз в этот момент мама ходит по его опустевшей комнате, открывает какой-нибудь ящик, аккуратно перекладывает его старую одежду, приводит в порядок книги, письменный стол; она проделывала это уже столько раз, но ей кажется, что так ощутимей присутствие сына, словно он, как обычно, должен вернуться домой к ужину. Ему мерещился привычный звук маминих частых беспокойных шагов, выдававших ее вечные заботы о ком-нибудь. Разве достанет ему смелости огорчить ее? Если бы Джованни был дома, в той же комнате, под семейным абажуром, вот тогда он действительно рассказал бы ей обо всем, и мама

просто не успела бы огорчиться, потому что он сидел бы рядом и все плохое уже осталось бы позади. Но вот так, вдали от нее, взять все и написать!... Если бы они сидели рядышком перед камином в тишине надежного старого дома – о, тогда конечно, тогда он рассказал бы ей о майоре Матти, о его коварных посулах и о причудах Тронка! Он рассказал бы ей, как по глупости принял предложение остаться здесь на четыре месяца, и они вместе, наверно, посмеялись бы над его оплошностью. Но как это сделать, находясь от нее вдали?

«И все же, – продолжал писать Дрого, – я счел за лучшее для себя да и для своей карьеры остаться на какое-то время в Крепости... К тому же народ здесь очень симпатичный, служба простая, не утомительная». А его комната? Бульканье воды за стеной? Встреча с капитаном Ортицом? Безжизненная северная земля? Не станет же он описывать железный устав, редут, убогое караульное помещение, где он сейчас сидит! Нет, даже с мамой не может он быть откровенным, даже ей нельзя признаться в смутных страхах, не дававших ему покоя.

Там, дома, в городе, часы не в лад и на разные голоса били сейчас десять вечера, и на их бой тоненьким дребезжанием откликалась стеклянная посуда на буфетных полках; из кухни доносились голоса и смех, а с противоположной стороны улицы – звуки фортепьяно. Через узенькое, похожее на бойницу окошко можно было вновь посмотреть на северную долину, на эту унылую землю; но сейчас к окошку подступила плотная темнота. Перо слегка поскрипывало. Вокруг царилась ночь, между зубцами стены начал свистеть ветер, навевая какие-то тревожные думы, и хотя в редуте сгустилась темень и воздух был сырой и тяжелый, Дрого писал: «В общем, я очень доволен и чувствую себя хорошо».

С девяти вечера и до рассвета каждые полчаса звучал удар колокола в четвертом редуте на правом фланге перевала – там, где кончалась стена. Сначала слышался удар маленького колокола, и тотчас часовой окликал ближайшего своего товарища, а тот – следующего, и так – до противоположного конца стены, от редута к редуту, через форт и далее в ночной темноте совершалась перекличка. «Слушай! Слушай!» Часовые выкрикивали эти слова равнодушно, монотонно, каким-то неестественным голосом.

Не раздеваясь, Джованни Дрого прилег на койку; но и сквозь овладевающее им сонное оцепенение через определенные промежутки времени его ушей достигала эта далекая перекличка: «Слу... лу... лу...» Крик накатывал, становился все громче, проносясь над ним, набирал наибольшую силу и, постепенно замирая, удалялся по другой стене. Спустя две минуты он возвращался, но уже как отклик, с первой башни слева. И опять через равные промежутки времени раздавалось: «Слу... лу... лу...» Лишь когда этот крик звучал прямо над головой, подхваченный часовыми его отряда, Дрого мог разобрать слово полностью. Но вскоре это «Слушай!» снова превращалось в какой-то протяжный стон, замиравший наконец там, где у самого подножия скал стоял последний часовой.

Джованни слышал, как этот крик четырежды прокатился с одного фланга на другой и четырежды возвратился по стене Крепости к исходной точке. На пятый раз до сознания Дрого дошел лишь слабый отзвук, от которого он слегка вздрогнул. И подумал, что не пристало офицеру спать на дежурстве. Вообще-то устав допускал это при условии, что офицер не будет раздеваться, однако почти у всех лейтенантов Крепости особым шиком считалось не смыкать глаз всю ночь: они читали, курили сигары, иногда в нарушение инструкций навещали друг друга и играли в карты. Тронк, которого Джованни уже успел кое о чем расспросить, намекнул ему, что бодрствовать всю ночь стало в Крепости хорошей традицией.

Джованни Дрого растянулся на койке, стоявшей так, что до нее не достигал круг света от керосиновой лампы, и предался размышлениям о своей жизни, но совершенно неожиданно его сморил сон. А между тем именно в эту ночь – о, если б он только знал, ему бы, наверно, было не до сна! – именно в эту ночь для него начался поспешный и неумолимый отсчет времени.

До сих пор он пребывал в той поре безмятежной ранней юности, когда дорога, по которой шагаешь с детства, кажется бесконечной: годы текут медленно и легко, как-то незаметно. Шагаешь себе спокойно, с любопытством поглядывая по сторонам, и нет никакой надобности торопиться, никто тебе не наступает на пятки, никто не ждет; товарищи твои идут рядом так же бездумно, часто останавливаясь, чтобы пошутить, посмеяться. Взрослые с порога добродушно приветствуют тебя и с многозначительной улыбкой указывают куда-то на горизонт; и тут твое сердце начинает биться от сладостных мечтаний и предвкушения героических дел, ты уже предчувствуешь все то замечательное, что ждет тебя впереди; ничего пока еще не видно, нет, но ты уверен, ты абсолютно уверен, что придет время и все сбудется.

Долго ли еще идти? Нет, надо только через эту реку переправиться, вон она – внизу, и перевалить через те зеленые холмы. А может, мы уже на месте? Разве не к этим деревьям, не к этим лугам, не к этому белому дому мы стремились? На какое-то мгновение начинает казаться, что да, так оно и есть и надо остановиться. А потом нам говорят, что лучшее – впереди, и мы снова беззаботно трогаемся в путь.

Так и идем себе, в доверчивом ожидании лучшего, а дни длинны и спокойны, высоко в небе сияет солнце и, похоже, не собирается клониться к закату.

Но в какой-то момент, почти инстинктивно, мы оглядываемся назад и видим, что ворота у нас за спиной прочно закрыты и обратного пути нет. Вот тогда и замечаешь: что-то переменялось, солнце уже не кажется неподвижным, а быстро катится по небу: не успеешь полюбоваться на него, как оно, увы, уже стремительно приближается к горизонту; облака не плавают больше в лазурных заводях неба, а, торопливо наползая друг на друга, куда-то несутся; и тут начинаешь понимать, что время проходит и твоя дорога рано или поздно должна кончиться.

Да, наступает момент, когда у нас за спиной молниеносно захлопываются тяжелые ворота и их тотчас запирают – вернуться уже не успеешь. Но именно в этот момент Джованни Дрого спал сном праведника и улыбался во сне, как ребенок.

Пройдет немало дней, прежде чем Дрого осознает, что случилось. Тогда для него наступит пробуждение. Он недоверчиво оглядится вокруг, услышит звук наступающих его шагов, увидит людей, которые проснулись раньше и торопятся его обогнать, чтобы первыми прийти к цели. Он услышит, как пульсирует время, скупно отмеривая дни его жизни. И увидит в окнах уже не смеющиеся, а застывшие и безучастные лица. И если он спросит, долго ли ему еще идти, люди кивнут, опять-таки указывая на горизонт, но уже не будет в этих жестах ни доброты, ни приветливости. Друзья меж тем потеряются из виду, кто-то, выбившись из сил, останется позади, кто-то вырвется вперед: вон он – крошечная точка у горизонта.

Тебе за ту реку, скажут люди. Осталось десять километров, и, считай, ты уже на месте. Но дорога почему-то все никак не кончается, дни становятся короче, попутчики – реже, а в окнах видны лишь бледные тени, машинально качающие головой.

И так будет до тех пор, пока Дрого не останется совсем один, а на горизонте не появится узкая полоса безбрежного неподвижного свинцово-серого моря. Он почувствует себя усталым, в домах вдоль дороги почти все окна будут закрыты, а

те немногие люди, которых он увидит, в ответ на его вопросы лишь горестно разведут руками: все хорошее осталось позади, далеко позади, а ты прошел мимо, не зная этого. Да, возвращаться уже слишком поздно, за спиной нарастает топот множества людей, идущих следом, подстегиваемых теми же иллюзиями, тем же миражем, пока еще невидимым на белой пустынной дороге.

Джованни Дрого спит сейчас в третьем редуте. Ему что-то пригрезилось во сне, и он улыбается. В последний раз навещают его этой ночью чудные образы вполне счастливого мира. Хорошо, что он не может увидеть себя (а ведь когда-нибудь это будет) в том месте, где дорога кончается, на берегу свинцового моря, под однотонным серым небом; кругом ни дома, ни живого существа, ни дерева, ни даже травинки – и так во веки веков.

VII

Наконец-то из города прибыл сундук с вещами лейтенанта Дрого. Среди прочего в нем была новехонькая, невероятно элегантная шинель. Дрого надел ее и стал рассматривать себя «по частям» в маленьком зеркале, висевшем у него в комнате. Эта вещь как бы являла собой живую связь с его прежним миром, и он не без удовольствия подумал, что все теперь станут обращать на него внимание – такая прекрасная была ткань, такими благородными складками она ниспадала.

И еще он подумал, что не следовало бы трепать ее во время ночных караулов, среди этих сырых стен. Казалось даже дурной приметой обновлять ее именно здесь, как бы допуская, что более удачного случая не представится. Сожалел он и о том, что не перед кем в ней покрасоваться, и, хотя было совсем не холодно, он решил надеть шинель, пусть только для того, чтобы сходить к полковому портному и приобрести у него другую, попроще.

Дрого вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице, любясь – где допускало освещение – изяществом собственной тени. Но почему-то по мере того, как он спускался в недра Крепости, шинель утрачивала свой шик. К тому же Дрого почувствовал, что не умеет носить ее естественно и непринужденно, и она стала казаться чужой и слишком щегольской.

Хорошо еще, что лестницы и коридоры были почти безлюдны. Первый же попавшийся навстречу Дрого капитан ответил на приветствие, не задержав на нем взгляда. Даже изредка встречавшиеся на его пути солдаты и те не косили глазом в его сторону.

Под конец Дрого пришлось спускаться по узкой винтовой лесенке, высеченной прямо в стене; от эха его собственных шагов, разносившегося вверх и вниз, создавалось впечатление, будто он здесь не один. Полы роскошной шинели развевались, обтирая со стен белесую плесень.

Наконец Дрого добрался до подвальных помещений: мастерская портного Просдочимо находилась в подвале. В погожие дни через крошечное оконце под потолком сюда пробивалась узкая полоска света, но в тот вечер уже зажгли лампы.

– Здравствуйте, господин лейтенант, – увидев вошедшего, сказал полковой портной Просдочимо.

В большом помещении освещены были лишь отдельные островки: конторка, за которой сидел какой-то старичок, большой рабочий стол для троих молодых помощников портного. А вокруг, наводя жуть, словно удавленники, болтались на вешалках десятки мундиров, шинелей, плащей.

– Добрый вечер, – ответил Дрого. – Я хотел бы купить шинель. Не очень дорогую, лишь бы ее хватило на четыре месяца.

– Позвольте взглянуть, – сказал портной, улыбаясь. С недоверчивым любопытством он взял в руки край шинели Дрого и подтянул его поближе к свету. (Просдочимо был в звании сержанта, но, как портной, мог позволить себе некоторую ироничную вольность в отношениях с начальством.) – А материал-то хорош, хорош... Небось кучу денег заплатили, у вас в городе умеют драть. – Он окинул профессиональным взглядом всю шинель и покачал головой так, что затряслись его толстые, покрытые сеткой кровяных прожилок щеки. – Жаль только...

– Чего?

– Жаль, что воротник низкий, военные таких не носят...

– Сейчас носят именно такие, – высокомерно заметил Дрого.

– По моде низкий воротник, может, и хорошо, – возразил портной, – но нам, военным, мода не указ. Наша мода – устав, а устав гласит: «Воротник шинели должен прилегать к шее, иметь округлую форму и высотой быть семи сантиметров». Если я сижу в этой дыре, вы, господин лейтенант, вероятно, думаете, что имеете дело с каким-нибудь захудалым портняжкой.

– Ну что вы! – воскликнул Дрого. – Ничего подобного!

– Наверняка так думаете. А меня уважают даже в городе, и притом самые достойные офицеры. Я ведь здесь работаю временно. Да, вре-мен-но. – Последнее слово он произнес по слогам, словно хотел подчеркнуть его особую важность.

Дрого не знал, что и ответить.

– Со дня на день я могу отсюда уехать, – продолжал Просдочимо. – Если бы не господин полковник, который не хочет со мной расстаться... Не понимаю, что тут смешного?

В полумраке подвала действительно раздалось придушенное хихиканье троих подмастерьев, которые с преувеличенным усердием низко склонились над шитьем. Старичок же продолжал писать, ни на кого не обращая внимания.

– Чего смеетесь-то? – переспросил Просдочимо. – Очень уж вы шустрые. Рано или поздно сами это поймете.

– Действительно, – поддержал его Дрого, – ничего смешного не вижу...

– Дураки, – сказал портной. – Что с них взять?

В этот момент на лестнице послышались шаги, и в дверях показался солдат. Просдочимо вызывали наверх, к начальнику вещевого склада.

– Извините, господин лейтенант, – сказал портной. – Служба есть служба. Через несколько минут вернусь. – С этими словами он стал подниматься по лестнице за солдатом.

Дрого, решив подождать его, сел. После ухода начальника трое подмастерьев прекратили работу. Старичок оторвал наконец глаза от своих бумаг, поднялся и хромая подошел к Джованни.

– Слыхали? – спросил он, многозначительно кивнув на дверь. – Слыхали? А знаете, господин лейтенант, сколько уже лет он здесь, в Крепости?

– Откуда ж мне знать?

– Пятнадцать, господин лейтенант, пятнадцать проклятущих лет, а все твердит одно и то же: я здесь временно, не сегодня завтра...

Один из подмастерьев что-то пробурчал. По-видимому, эта история была постоянным предметом их насмешек. Но старичок даже не глянул в ту сторону.

– А сам никогда с места не сдвинется, – сказал он. – И Просдочимо, и наш комендант, господин полковник, и многие другие останутся здесь, пока не подохнут. Это уже какая-то болезнь. Смотрите, господин лейтенант, вы еще новичок, только приехали, смотрите, а то поздно будет...

– Не понимаю...

– Уезжайте отсюда как можно скорее, пока не заразились их манией.

– Я здесь всего на четыре месяца, – сказал Дрого, – и не имею ни малейшего желания задерживаться.

Но старичок не унимался:

– Берегитесь, господин лейтенант. Все началось с полковника Филиморе. «Готовятся важные события», – говорил он. Я прекрасно помню: это было лет восемнадцать назад. Да-да, «события» – именно так он и говорил. Его слова. Вбил себе в голову, что Крепость – Бог вещь какой важный объект, куда важней, чем все остальные, а в городе просто ничего не понимают. – Старичок говорил медленно, замолкая чуть не после каждого слова. – Вбил, понимаете, себе в голову, что Крепость – важнейший объект и тут обязательно должно что-то произойти.

Дрого улыбнулся.

– Должно произойти? Война, что ли?

– Кто его знает, может, и война.

– Нашествие из пустыни?

– Не иначе как из пустыни, – подтвердил старичок.

– Но кто, кто же может оттуда напасть?

– А я почему знаю? Ясное дело, никто. Но господин полковник изучил карты и говорит, что есть еще татары – остатки древнего войска, – и они где-то там бродят.

В полутьме подвала послышалось дурацкое хихиканье подмастерьев.

– Вот они их и ждут, – продолжал старичок. – Послушать господина полковника, господина капитана Стиционе, господина капитана Ортица, господина подполковника, так каждый год может что-то случиться. Будут твердить одно и то же, одно и то же, пока их не уволят на пенсию. – Старичок, замолчав, склонил голову к плечу, словно прислушивался. – Кажется, кто-то идет.

Но было совсем тихо.

– Я ничего не слышу, – сказал Дрого.

– Вот и Просдочимо, – снова заговорил старичок, – ведь простой сержант, полковой портной – а туда же, заодно с ними. Тоже ждет. Уже пятнадцать лет... Но вы, господин лейтенант, вижу, мне не верите. Молчите, а сами думаете, мол, чепуха все это. – И добавил почти умоляюще: – Послушайте меня, будьте осторожны. Ни за что не поддавайтесь, не то навсегда останетесь здесь, вы только в глаза ему посмотрите...

Дрого не ответил. Он считал, что ему, офицеру, не подобает откровенничать с такой мелкой сошкой.

– А вы-то, – спросил он, – что делаете здесь вы?

– Я? Я его брат и работаю вместе с ним.

– Его брат? Старший?

– Ну да, – улыбнулся старичок, – старший брат. Я тоже когда-то был военным, но сломал ногу и вот, дошел до такой жизни.

В тиши подземелья Дрого слышал, как бьется его собственное сердце. Выходит, даже старичок, корпящий в подвале над счетными книгами, даже это странное и ничтожное существо ждет от судьбы испытаний и готовится к подвигу? Джованни смотрел ему прямо в глаза, а тот грустно кивал в знак того, что ничего не поделаешь. Такие уж мы есть, казалось, говорил он, и никогда нам от этого не исцелиться.

Может, потому, что где-то на лестнице открылась дверь, до их слуха донеслись далекие человеческие голоса, но откуда они исходили – определить было невозможно. Время от времени голоса замолкали, оставляя ощущение пустоты, но вскоре вновь начинали звучать, то удаляясь, то приближаясь, словно медленное дыхание самой Крепости.

Наконец до сознания Дрого стало что-то доходить. Он смотрел на многочисленные тени висящих вокруг мундиров, которые в неверном свете ламп, казалось, шевелятся, и вдруг подумал, что именно в этот момент полковник в тиши своего таинственного кабинета открыл окно, выходящее на север. Ну конечно, в такую унылую темную осеннюю пору комендант Крепости смотрел на север, на черные провалы долины.

Из северной пустыни должна была прийти удача, необычайное приключение, тот чудесный случай, который по крайней мере раз в жизни бывает у каждого. Из-за этой смутной надежды, с течением времени становившейся все более расплывчатой, взрослые мужчины проводили в Крепости лучшие свои годы.

Нормальная жизнь, простые человеческие радости, заурядная судьба были не для них; живя здесь бок о бок, они лелеяли одну и ту же мечту, хотя никогда не обмолвились о ней ни словом – то ли потому, что сами не отдавали себе в этом отчета, то ли просто потому, что были солдатами, а солдаты не любят, когда им заглядывают в душу.

Вот и у Тронка, наверно, была такая мечта. Он педантично соблюдал параграфы устава и железную дисциплину, гордился своим необыкновенным чувством ответственности и заблуждался, полагая, что этого достаточно. Даже если бы ему сказали: все будет так до конца твоей жизни, все останется без изменений до последней минуты и пора бы тебе уже очнуться. «Нет, это невозможно, – ответил бы он. – Должно же когда-нибудь случиться что-то необычное, что-то поистине важное, такое, после чего можно будет сказать: что ж, теперь, даже если все и кончено, не о чем сожалеть».

Дрого понял их нехитрую тайну и с облегчением подумал, что его, стороннего наблюдателя, все это не касается. Через четыре месяца он с Божьей помощью расстанется с ними навсегда. Таинственные чары старой Крепости рассеялись с поразительной легкостью. Так думал Дрого. Но почему этот старик смотрит на него с плохо скрытым сомнением? Почему Дрого охватило вдруг желание насвистать какой-нибудь мотивчик, глотнуть вина, выйти на свежий воздух? Может, ему надо было доказать самому себе, что он действительно свободен и спокоен?

VIII

А вот и новые друзья Дрого – лейтенанты Карло Морель, Пьетро Ангустина, Франческо Гротта, Макс Лагорио. В этот свободный час они собрались все вместе в столовой. Кроме них здесь был только прислужник, подпиривший притолоку дальней двери, а из полумрака с развешанных по стенам портретов взирали на офицеров старые полковники. Восемь бутылок чернели на скатерти среди остатков закончившейся трапезы.

Все были слегка возбуждены – то ли от вина, то ли оттого, что час такой поздний. Когда они умолкали, снаружи доносился шум дождя.

Отмечали отъезд графа Макса Лагорио, который отслужил два года в Крепости и завтра должен был ее покинуть.

– Ангустина, – сказал Лагорио, – если ты тоже решишь ехать, я тебя подожду.

Сказал он это, как всегда, шутливо, но чувствовалось, что намерение свое готов выполнить.

Ангустина тоже отслужил два года, но уезжать не собирался. Он был бледен и сидел с отрешенным видом, словно никто здесь ему не нужен и попал он сюда совершенно случайно.

– Ангустина, – повторил Лагорио, почти срываясь на крик, так как был сильно навеселе, – если ты тоже решишь ехать, я могу тебя подождать. Хоть три дня.

Лейтенант Ангустина промолчал – лишь принужденно улыбнулся. Его голубой, выгоревший на солнце мундир отличался какой-то неуловимой небрежной элегантностью.

Лагорио, положив правую руку на плечо Ангустины и призывая на помощь остальных – Мореля, Гротту, Дрого, – сказал:

– Повлияйте на него хоть вы. Ведь в городе ему будет лучше.

– Что значит – лучше? – спросил Ангустина, изображая заинтересованность.

– Я хотел сказать, что в городе ты себя будешь лучше чувствовать. Как, впрочем, и все мы. Так я считаю.

– Я чувствую себя прекрасно, – сухо отозвался Ангустина. – И в лечении не нуждаюсь.

– А кто говорит про лечение? Я сказал, что жизнь в городе пошла бы тебе на пользу.

После слов Лагорио стало слышно, как на дворе льет дождь. Ангустина разглаживал двумя пальцами усики; разговор этот был ему неприятен.

Но Лагорио не унимался:

– О матери, о родных ты не думаешь... Представляешь, как твоя мама...

– Моя мама не пропадет, – ответил Ангустина тоном, в котором сквозила горькая усмешка.

Лагорио, заметивший это, переменял тему:

– Подумай сам, ведь послезавтра ты мог бы встретиться с Клаудиной. Уже два года, как она тебя не видела.

– Клаудина... – вяло отозвался тот, – какая еще Клаудина? Что-то не помню.

– Ну как же, не помнишь! С тобой сегодня просто невозможно разговаривать! Надеюсь, я не выдал никакой тайны? Вас же постоянно видели вместе.

– А-а! Теперь припоминаю, – просто из вежливости ответил Ангустина. – Нашел о ком говорить. Да она, должно быть, и думать обо мне забыла...

– Ну, это ты брось, нам-то известно, что все девчонки от тебя без ума, нечего строить из себя скромника! – воскликнул Гротта.

Ангустина посмотрел на него в упор долгим взглядом: такая пошлость была ему явно не по душе.

Помолчали. Снаружи, во тьме, под осенним дождем вышагивали часовые. Вода, булькая, лилась по террасам, журчала в водосточных трубах, стекала по стенам. За окнами стояла непроглядная темень. Ангустина вдруг хрипло и резко

кашлянул. Казалось странным, что молодой человек с такими утонченными манерами может издать столь неприятный звук. Но Ангустина продолжал кашлять, прикрывая рот и каждый раз наклоняя голову, словно хотел этим показать, что ничего не может с собой поделаться, что он здесь ни при чем и вынужден терпеть такое неудобство просто в силу своего хорошего воспитания. Таким образом он превращал кашель в этакую оригинальную привычку, даже заслуживающую подражания.

За столом воцарилась тягостная тишина, которую Дрого счел нужным нарушить.

– Послушай, Лагорио, – спросил он, – в котором же часу ты завтра отбываешь?

– Думаю, около десяти. Хотелось бы выехать пораньше, но нужно попрощаться с полковником.

– Полковник поднимается в пять утра. И летом, и зимой – ровно в пять, так что из-за него у тебя задержки не будет.

Лагорио рассмеялся.

– Да, но я не собираюсь подниматься в пять. Хоть в последнее утро отосплюсь, за мной ведь никто не гонится.

– Значит, послезавтра будешь на месте, – заметил Морель не без зависти.

– Клянусь, мне самому это кажется невероятным, – откликнулся Лагорио.

– Что именно – невероятным?

– Что через два дня я уже буду в городе, – пояснил Лагорио. И после паузы добавил: – Теперь уже – навсегда.

Ангустина был бледен: он уже не поглаживал свои усики, а сидел, устремив невидящий взгляд в полумрак столовой, где особенно ощущалось наступление ночи – того часа, когда страхи покидают облупленные стены, а печали смягчаются, когда душа, горделиво взмахнув крыльями, возносится над спящим человечеством. Остекленевшие глаза полковников на больших портретах были исполнены предчувствия великих битв. А дождь лил не переставая.

– Представляешь, – вновь обращаясь к Ангустине, сказал Лагорио безжалостно, – послезавтра в это время я, возможно, буду уже у Консальви. Шикарное общество, музыка, красивые женщины.

Так они любили шутить раньше.

– Ну и вкусы у тебя! – пренебрежительно отозвался Ангустина.

– А может... – продолжал Лагорио из самых лучших побуждений, с единственной целью убедить друга, – да, пожалуй, так я и сделаю – нанесу визит Тронам, твоему дядюшке... Там собирается приятная публика и игра ведется «по-благородному», как сказал бы Джакомо.

– Тоже мне – удовольствие! – отозвался Ангустина.

– Как бы там ни было, – возразил Лагорио, – но послезавтра я буду развлекаться, а ты опять пойдешь в караул. Представляешь: я гуляю по городу, – он даже засмеялся от одной этой мысли, – а к тебе в это время является капитан. «Никаких происшествий, заболел часовой Мартини». В два часа сержант разбудит тебя: «Поверка, господин лейтенант». Да, он разбудит тебя ровно в два, могу поклясться, а я в этот час наверняка буду в постели с Розарией...

Лагорио, как всегда, был бездумно жесток – к этому все уже привыкли. Но его слова воскресили в памяти приятелей образ далекого города с роскошными зданиями и огромными соборами... воздушные купола, романтические аллеи над

рекой. Там, думали они, сейчас, наверно, стелется тонкая пелена тумана и фонари льют свой слабый желтоватый свет, в котором на пустынных улицах темнеют силуэты парочек, сияет огнями застекленный портал оперы, раздаются крики кучеров, витают отзвуки скрипичной музыки и смеха, из сумрачных подъездов доносятся женские голоса, на невообразимой высоте среди лабиринта крыш светятся окна – милый город, хранящий в себе мечты их молодости и сулящий неизведанные приключения.

Все теперь незаметно поглядывали на лицо Ангустины, напряженное от тщетно скрываемой усталости. И все сознавали, что собрались они здесь, чтобы проститься не с отбывающим Лагорио, а с Ангустиной: ведь только ему предстоит остаться в Крепости. Когда подойдет их черед, они все уедут следом за Лагорио – и Гротта, и Морель, а раньше других – Джованни Дрого, которому нужно прослужить в Крепости всего четыре месяца. Ангустина же останется. Понять, отчего должно быть именно так, они не могли, но знали это наверняка. И хотя товарищи смутно чувствовали, что и в этом тоже было своеобразие, оригинальность Ангустины, никто почему-то уже не находил возможным ему завидовать или подражать: в сущности, слишком уж это напоминало какую-то манию.

А проклятый сноб Ангустина еще и улыбается! Почему он, совершенно больной, не бежит укладывать вещи, не готовится к отъезду, а сидит, уставясь невидящим взором в полутьму? О чем он думает? Какая тайная гордыня удерживает его в Крепости? Значит, и он... Присмотрись к нему, Лагорио, ведь ты его друг, присмотрись хорошенько, пока не поздно, постарайся запечатлеть в своей памяти это лицо таким, каким ты видишь его сейчас: тонкий нос, усталый взгляд, неприятная улыбка... быть может, когда-нибудь ты поймешь, почему он не захотел последовать твоему примеру, поймешь, какие мысли таились за этим бледным челом.

Наутро Лагорио уехал. Денщик ждал его с двумя лошадьми у ворот Крепости. Небо было затянуто тучами, но дождь прекратился.

С довольным видом Лагорио вышел из своей комнаты, не оглянувшись напоследок и даже не бросив прощального взгляда на Крепость. Крепостные стены возвышались над ним – неприветливые, хмурые, у ворот неподвижно застыл часовой, на обширном плацу не было ни души. Из какой-то прилепившейся к форту будки доносились ритмичные удары молотка.

Ангустина спустился попрощаться с товарищем. Он ласково потрепал коня и сказал:

– До чего красивое животное.

Лагорио уезжал, уезжал в их родной город, возвращался к легкой и приятной жизни. А он оставался и, глядя непроницаемым взором на хлопотавшего вокруг лошадей товарища, изо всех сил старался сохранить на лице улыбку.

– Просто не верится, что я уезжаю, – говорил Лагорио. – Эта Крепость была для меня каким-то кошмаром.

– Передай привет моим, – сказал Ангустина, не слушая его. – Скажи маме, что у меня все в порядке.

– Не беспокойся, – ответил Лагорио и после короткой паузы добавил: – Ты уж прости меня за вчерашнее. Мы с тобой совершенно разные люди... я никогда не

мог понять, что у тебя на уме. Мне кажется, ты одержим какой-то манией. А может, я ошибаюсь.

– Да брось ты, – ответил Ангустина, опершись правой рукой на круп коня и глядя себе под ноги. – Я и не думал обижаться.

Да, они были разными людьми, любили разные вещи, неодинаковыми были их интеллектуальный уровень и культура. Даже странным казалось постоянно видеть их вместе, настолько Ангустина во всех отношениях превосходил приятеля. Однако они дружили. Из всех окружающих только Лагорио инстинктивно его понимал, только он жалел товарища и даже испытывал неловкость оттого, что уезжает раньше, как будто делает это из глупого желания выделиться. Потому-то и вел он себя как-то нерешительно.

– Если увидишь Клаудину, – сказал Ангустина бесцветным голосом, – передай привет... хотя лучше не надо, ничего ей не говори...

– О, да она сама спросит, если мы увидимся. Она же знает, что ты здесь.

Ангустина промолчал.

– А теперь, – сказал Лагорио, окончивший с помощью денщика приторачивать к седлу дорожную сумку, – мне пора ехать, время идет. Прощай.

Он пожал другу руку и картинно вскочил в седло.

– Прощай, Лагорио! – крикнул Ангустина. – Счастливого пути!

Выпрямившись в седле, Лагорио взглянул на Ангустину. И хотя он не отличался пронизательностью, смутный внутренний голос говорил ему, что вряд ли они когда-нибудь еще свидятся.

Он пришпорил коня. И тогда Ангустина нерешительно взмахнул правой рукой, словно хотел задержать товарища, сказать ему еще что-то напоследок. Лагорио, проехавший уже метров двадцать, краем глаза заметил этот жест, остановился и спросил:

– Ты что? Забыл что-то сказать?

Но Ангустина уже опустил руку, и вся его поза опять выражала полную безучастность.

– Нет-нет, – ответил он. – Ничего!

– А мне показалось... – смущенно сказал Лагорио и, покачиваясь в седле, не спеша пересек плац.

IX

Террасы Крепости стали такими же белыми, как южная долина и северная пустыня. Снег полностью укрыл эскарпы, хрупким карнизом лег на зубцы стен, с глухим шумом шлепался с водостоков, время от времени непонятно почему срывался с крутых откосов, и тяжелые лавины, клубясь и грохоча, обрушивались в расщелины между скалами.

Это был уже не первый, а третий или четвертый снегопад. Значит, прошло немало времени.

– А у меня такое чувство, что я только вчера прибыл в Крепость, – говорил Дрого.

И действительно, казалось, это было только вчера, но ведь время все равно шло в своем неощутимом темпе, одинаковом для всех – ничуть не более медленном для счастливых и не более быстром для несчастных.

Вот так – ни быстро, ни медленно – прошли еще три месяца. Воспоминания о рождестве канули в прошлое, наступил новый год, на несколько мгновений

пробудивший в людях непонятные надежды. Джованни Дрого уже готовился к отъезду. Нужно было выполнить еще одну формальность: пройти медицинское освидетельствование, о котором с самого начала говорил майор Матти, после чего Дрого мог покинуть Крепость. Он все время твердил себе, что это замечательно, что в городе его ждет легкая, беспечная и, должно быть, счастливая жизнь, но почему-то удовлетворения не чувствовал.

Утром 10 января он вошел в кабинет врача на самом верхнем этаже Крепости. Врачу Фердинандо Ровине перевалило за пятьдесят. У него было обрюзгшее и умное лицо, на котором лежала печать привычной усталости. Вместо формы он носил длинный темный сюртук, как у судьи. Ровина сидел за столом, заваленным разными книгами и бумагами, но вошедший без предупреждения Дрого сразу понял, что доктор ничем не занят: просто сидит неподвижно и о чем-то думает.

Окно выходило во двор, где печатали шаг солдаты: дело шло к вечеру, и начиналась смена караулов. Из окна виднелась часть противоположной стены, а над ней – необыкновенно ясное небо. Они поздоровались, и Джованни тотчас убедился, что врач очень хорошо осведомлен о его деле.

– Вороны гнездятся, а ласточки улетают, – пошутил Ровина и вынул из ящика лист бумаги с отпечатанным формуляром.

– Вам, доктор, вероятно, неизвестно, что я попал сюда по ошибке, – сказал Дрого.

– Все попали сюда по ошибке, милый мальчик, – многозначительно заметил доктор. – Да, в той или иной степени все, даже те, кто остались здесь насовсем.

Дрого не вполне его понял и ограничился неопределенной улыбкой.

– О, я вас не порицаю! – продолжал Ровина. – Вы, молодые, правильно делаете, что не хотите здесь застревать. Внизу, в городе то есть, гораздо больше перспектив. Иногда мне и самому кажется, что если бы я мог...

– А что, – спросил Дрого, – разве вы не можете добиться перевода?

Доктор замахал руками, словно принял эти слова за неуместную шутку.

– Добиться перевода? – Он расхохотался. – После проведенных здесь двадцати пяти лет? Слишком поздно, юноша, раньше надо было думать.

Возможно, доктору хотелось, чтобы Дрого с ним поспорил еще, но, поскольку лейтенант умолк, он приступил к делу. Предложив Джованни сесть, он спросил его имя и фамилию, занес их в соответствующие графы формуляра. Затем сказал:

– Итак, у вас не в порядке сердечно-сосудистая система, верно? Вашему организму вреден высокогорный климат? Так и запишем, да?

– Что ж, пишите, – согласился Дрого. – Вы врач, вам видней.

– Раз уж дело обстоит таким образом, вам, пожалуй, нужен и отпуск для восстановления здоровья. – Доктор подмигнул.

– Спасибо, – сказал Дрого, – но я не хотел бы злоупотреблять...

– Воля ваша. Значит, отпуск отпадает. Я в вашем возрасте не был столь щепетилен.

Джованни, вместо того чтобы сесть, подошел к окну и время от времени поглядывал вниз, где на белом снегу выстроились солдаты. Солнце только что зашло, во дворе Крепости разлились голубоватые сумерки.

– Больше половины таких, как вы, после трех-четырех месяцев хотят уехать, – с легкой грустью продолжал доктор, теперь тоже окутанный тенью, так что

непонятно было, как он может писать. – Вот и я, если бы можно было вернуть молодость, поступил бы, как вы... Хотя в общем-то это неправильно.

Дрого слушал без всякого интереса, так как был поглощен видом из окна. Ему показалось, что на его глазах окружавшие двор желтоватые стены поднялись высоко-высоко к хрустальному небу, а над ними, там, вдалеке, еще выше взметнулись одинокие башни, крутые, увенчанные снеговыми шапками откосы, воздушные эскарпы и форты, которых он прежде не замечал. Последние лучи заката пока еще освещали их, и они сверкали таинственным и непостижимым живым светом. Дрого даже не представлял себе, что Крепость так сложна и огромна. На совершенно невыносимой высоте он увидел выходящее на долину окно (или бойницу?). Там, должно быть, тоже есть люди, ему незнакомые, и даже молодые офицеры, с которыми можно было бы подружиться. Он видел геометрически четкие тени провалов между бастионами, шаткие мостики, повисшие между крышами, странные, наглухо запертые порталы у самой кромки стен, острые, накренившиеся от времени ребристые зубцы.

В свете фонарей и факелов на синевато-фиолетовом дне двора он видел огромных и гордых солдат, обнаживших штыки. На фоне белого снега черные неподвижные шеренги казались выкованными из железа. Они были прекрасны. Солдаты стояли, словно каменные изваяния, а тут еще запела труба, и голос ее, распространяясь в воздухе – такой живой, серебристый, – проникал в самое сердце.

– Все вы постепенно отсюда уедете, – бормотал в полумраке Ровина, – в конце концов останемся только мы, старики. В этом году...

Внизу, во дворе, играла труба – в этом чистом звуке голос человека и голос металла, сливаясь, трепетали от воинственного пыла. А когда звуки смолкли, вокруг, даже в кабинете врача, еще продолжали витать какие-то неизъяснимые чары. Наступила такая тишина, что можно было различить скрип шагов по смерзшемуся снегу. Сам полковник спустился вниз – приветствовать караулы. И снова три необычайной красоты звука прорезали небо.

– Кто же из вас останется?... – продолжал сетовать врач. – Лейтенант Ангустина, один он. В этом году, я уверен, и Морелю предстоит отправиться в город на лечение. Держу пари, что и он заболит.

– Морель? – переспросил Дрого просто для того, чтобы как-то поддержать беседу. – Морель заболит? – Ничего, кроме этих последних слов, он не слышал.

– Да нет же, – сказал врач. – Это своего рода метафора.

Даже сквозь закрытое окно были слышны шаги полковника по остекленевшему снегу. В сумерках примкнутые штыки казались множеством серебряных черточек. Из дальней дали донеслось эхо труб: очевидно, тот же звук, отраженный лабиринтом стен.

Врач помолчал, затем поднялся.

– Вот заключение, сейчас понесу полковнику на подпись. – С этими словами он сложил листок, сунул его в конверт, снял с вешалки шинель и меховую шапку.

– Вы со мной, лейтенант? Куда вы все смотрите?

Сменившиеся часовые сдали оружие и расходились в разные стороны. Их шаги на снегу, сливаясь, звучали глухо, но надо всем еще царил музыка фанфар. Потом – это было нечто невероятное – стены, уже окутанные темнотой, стали медленно подниматься к зениту, а от снеговой опушки на карнизах начали отделяться белые облачка, похожие на цапель, плывущих в межзвездном пространстве.

Перед мысленным взором Дрого мелькнула картинка из жизни родного города – бледное такое воспоминание: шумные улицы под дождем, гипсовые статуи, сырые казармы, жалкие колокола, усталые, изнуренные лица, бесконечно длинные вечера, прокопченные потолки.

А здесь, в горах, наступала величественная ночь с бегущими над Крепостью облаками, ночь, сулящая что-то необыкновенное. И оттуда, с севера, таинственного, не видимого за стенами севера, – он это чувствовал – надвигалась его судьба.

– Доктор, доктор, – выдавил из себя Дрого, – я здоров.

– Мне это известно, – ответил врач. – А вы как думали?

– Я здоров, – повторил Дрого, почти не узнавая собственного голоса. – Я здоров и хочу остаться.

– Остаться здесь, в Крепости? Вы передумали, не хотите уезжать? Что с вами?

– Не знаю, – ответил Дрого. – Но уехать я не могу.

– О-о! – воскликнул, подходя к нему, Ровина. – Если вы не шутите, ей-богу, я этому только рад.

– Нет, не шучу, – сказал Дрого, чувствуя, как на смену возбуждению приходит какое-то странное томительное чувство, похожее на счастье. – Доктор, можете выбросить ту бумажку.

Х

Это не могло не случиться; так было, вероятно, предопределено еще в тот день, когда Дрого впервые вместе с Ортицом подъехал к Крепости и она предстала перед ним в слепящем глаза полуденном блеске.

Дрого решил остаться. Одного желанья, одних мечтаний о подвигах тут было бы, пожалуй, недостаточно. В тот момент он считал свой поступок заслуживающим всяческих похвал и был искренне удивлен, обнаружив в себе такое благородство. Лишь много месяцев спустя, оглянувшись назад, он поймет, какие, в сущности, ничтожные мелочи удержали его в Крепости.

Пусть бы протрубили тревогу, пусть бы грянули военные марши, а с севера пришли вести о надвигающейся опасности – это не остановило бы его; но в нем уже пустили корни рутина, воинское тщеславие, привязанность к этим стенам, которые стали привычным атрибутом его повседневной жизни. Хватило четырех месяцев, чтобы размеренный ритм службы засосал его.

Он привык нести дежурства по караулу, которые вначале казались невыносимо утомительными, постепенно усвоил требования устава, изучил любимые словечки и причуды начальства, топографию редутов, посты часовых, уголки, где можно было укрыться от ветра, сигналы труб. Овладевая секретами службы, он испытывал какое-то особое удовольствие и стал пользоваться уважением солдат и сержантов. Сам Тронк, убедившись, что Дрого – человек серьезный и аккуратный, по-своему привязался к нему.

Он так близко сошелся с офицерами гарнизона, что теперь даже самые изощренные их шутки и намеки не заставляли его врасплох; вечерами они все вместе подолгу обсуждали городскую жизнь, к которой из-за отдаленности питали повышенный интерес.

Он привык к хорошему столу и удобной столовой, к уютному камину в офицерской гостиной – огонь в нем поддерживался круглосуточно; к заботливому

денщику – добрейшему парню по имени Джеронимо, постепенно научившемуся предупреждать все его желания.

Привык вместе с Морелем время от времени ездить в ближайшее селение: добрых два часа верхом по узкому ущелью, которое он знал теперь как свои пять пальцев; привык к трактиру, где можно было наконец увидеть новые лица, где подавали роскошный ужин и звенел веселый смех девушек, всегда готовых одарить гостя любовью.

Привык к бешеным скачкам на лошадях по эспланаде перед Крепостью: в свободное время там можно было посостязаться с товарищами в ловкости; к тихим вечерам за шахматами, не обходившимся, правда, без обид, когда партии завершались победой Дрого. (Капитан Ортиц говаривал: «Новичкам всегда везет. Все через это проходят – каждый думает про себя, что он выдающийся игрок, а дело-то в новизне... со временем и остальные овладевают его приемами, и в один прекрасный день у него уже ничего не получается».)

Привык к своей комнате и мирному чтению по ночам, к напоминающей голову турка трещине в потолке над кроватью и к бульканью цистерны, со временем ставшему совсем домашним, к ямке от своего тела в матрасе, к постели – поначалу такой неудобной, а теперь обмятой и послушной, к точно рассчитанному и уже автоматическому движению руки, которым он гасил керосиновую лампу или клал книгу на тумбочку. Он уже знал, как лучше расположиться утром перед зеркалом для бритья, чтобы свет падал на лицо под нужным углом, как наливать воду из кувшина в тазик, чтобы не набрызгать на пол, как справиться с непослушным замком одного из ящиков, отогнув ключ чуть-чуть книзу.

Привык к поскрипыванию двери в сырую погоду; к местечку на полу, куда падает свет заглядывающей в окно луны, и к медленному перемещению послушного ходу времени лунного луча; к возне в нижней комнате: каждую ночь ровно в половине второго старая рана в правой ноге подполковника Николози с удивительным постоянством давала о себе знать, прерывая его сон.

Все эти вещи стали как бы частью его самого, и расстаться с ними уже было бы жаль. Однако Дрого не отдавал себе в этом отчета и даже не подозревал, что уехать отсюда ему будет теперь трудно; не знал он и того, что жизнь в Крепости поглощает эти однообразно текущие дни со стремительной быстротой. И вчерашний, и позавчерашний день были одинаковыми, он не мог бы отличить один от другого; то, что было три дня или двадцать дней назад, казалось ему в равной мере далеким. Время текло и текло, но Дрого этого не замечал.

А пока вот он, самонадеянный и беспечный, на эскарпе четвертого редута ясной морозной ночью. Чтобы не замерзнуть, часовые шагают не останавливаясь, и снег скрипит у них под ногами. Огромная и совершенно белая луна освещает землю. И форт, и скалы, и каменистая долина на севере залиты чудесным светом, в котором поблескивает даже неизменная туманная завеса у северного края пустыни.

Внизу, в комнате дежурного офицера, всю ночь горит лампа: язычок пламени слегка подрагивает, отчего по стенам движутся тени. Дрого только что начал писать письмо – надо было ответить сестре друга Вескови, Марии, на которой он со временем, вероятно, женится. Но, написав пару строк, он, сам не зная почему, встал из-за стола и поднялся на крышу.

Это был самый низкий участок фортификации, совпадавший с седловиной перевала. Именно здесь находились ворота между двумя государствами. Их мощные, обитые железом створки не открывались с незапамятных времен. А

караульный отряд, дежуривший на Новом редуте, уходил и возвращался ежедневно через узкую, охранявшуюся часовыми боковую дверь: пройти через нее можно было лишь по одному.

Дрого впервые дежурил на четвертом редуте. Едва выйдя на площадку, он посмотрел направо, на покрытые коркой льда и сверкавшие в лунном свете скалы.

Ветер, гнавший по небу маленькие белые облачка, стал трепать полы его шинели – новой шинели, которая значила для него так много.

Он стоял неподвижно и вглядывался в гряды скалистых гор, возвышавшихся впереди, в таинственную северную даль, а накидка шинели хлопала и морщилась на ветру, как реющий стяг. Этой ночью Дрого чувствовал себя красивым и молодцеватым и стоял, выпятив грудь, у парапета смотровой площадки в своей прекрасной шинели с развеваемой ветром накидкой. Рядом с ним стоял Тронк; закутанный в свою широкую крылатку, он даже не был похож на солдата.

– Скажите-ка, Тронк, – обратился к нему Джованни с напускной озабоченностью, – это оптический обман или луна сегодня действительно больше, чем обычно?

– Не думаю, господин лейтенант, – ответил Тронк, – здесь, в Крепости, она всегда кажется такой.

Голоса их звучали преувеличенно громко, словно воздух был стеклянным. Тронк убедился, что лейтенанту он больше не нужен, и, движимый своим вечным стремлением проверять, как несут службу часовые, направился вдоль края площадки.

Оставшийся в одиночестве Дрого чувствовал себя почти счастливым. Он с гордостью смаковал свое решение остаться, испытывая щемящее удовлетворение оттого, что променял обеспеченные ему маленькие радости на огромное благо с отдаленной и неизвестной перспективой (но не шевелилась ли при этом в его мозгу утешительная мысль, что уехать-то он всегда успеет?).

Предчувствие – или то была лишь надежда? – благородных и великих свершений побудило его остаться здесь, в Крепости, но решение это могло быть и просто оттяжкой, ведь, в сущности, все пути перед ним были пока открыты. А времени впереди еще много. Казалось, его ждет все самое лучшее, что только есть на свете. Куда же ему торопиться? Даже женщины, эти милые и непонятные существа, ждут его – он был в этом уверен – как счастливая данность, уготованная ему нормальным ходом жизни.

Сколько еще времени впереди! Даже один год – это бесконечно много, а его лучшие годы ведь только начались. Они рисовались его воображению длинной чередой, конец которой и разглядеть невозможно, таким непочатым сокровищем, к тому же столь огромным, что оно еще успеет надоесть.

И не было никого, кто мог бы ему сказать: «Берегись, Джованни Дрого!» Жизнь казалась ему неисчерпаемой; какое упорное заблуждение, ведь молодость уже начала отцветать. Только Дрого не знал, что такое время. Даже если бы впереди у него была молодость, измеряемая, как у богов, не одной сотней лет, время и тогда бы не показалось неторопливым. Но в его распоряжении была всего лишь обычная человеческая жизнь со своим скупым даром – короткой молодостью – годы ее по пальцам можно перечесть, и пронесутся они так быстро, что и не заметишь.

Впереди еще уйма времени, думал он. А говорят, есть на свете люди, в какой-то момент начинающие (ну не чудаки ли!) ждать смерти – банального и абсурдного

явления, которое к нему, разумеется, никакого касательства не имеет. Думая об этом, Дрого улыбался, а поскольку его уже начал пробирать холод, принялся мерить шагами площадку.

Крепостные стены в этом месте повторяли рельеф перевала, образуя сложную систему площадок и террас. Сверху Дрого было видно, как в лунном свете отчетливо чернеют на снегу растянувшиеся цепочкой часовые. Под их размеренными шагами похрустывала замерзшая корка снега.

Самому ближайшему часовому, находившемуся метрах в десяти на террасе прямо под Дрого, холод, очевидно, был нипочем, и он стоял, привалившись к стене, неподвижно; казалось даже, что он заснул. Но Дрого слышал, как часовой густым басом напевает какую-то заунывную песню.

Слова, которых Дрого разобрать не мог, накладывались на протяжный и бесконечный мотив. Разговаривать, а тем более петь на посту строжайше запрещалось. Солдата следовало наказать, но Джованни пожалел его: ведь часовому так холодно, так одиноко этой ночью. И, спускаясь по короткой лесенке на террасу, он специально кашлянул, чтобы не застичь его врасплох. Часовой обернулся и, увидев офицера, стал как положено, но пение не прекратилось. Дрого рассердился: что эти солдаты себе позволяют? Думают, можно над ним насмеяться? Вот он ему сейчас покажет!

Часовой сразу же заметил, что лицо Дрого не сулит ничего хорошего, и, хотя формальности с паролем по давнему молчаливому уговору между часовыми и начальником караула не соблюдались, выполнил военный ритуал со всем старанием, вскинул винтовку и особенным голосом, как было принято в Крепости, спросил:

– Стой, кто идет?

Дрого, растерявшись, застыл как вкопанный. Теперь от солдата его отделяло не больше пяти метров, и в ясном свете луны Джованни отчетливо видел его лицо с плотно сомкнутыми губами, но песня звучать не перестала. Откуда же исходил голос?

Обдумывая эту странность – часовой все еще стоял в выжидательной позе, – Джованни машинально произнес пароль: «Чудо». «Чучело», – отозвался часовой и приставил винтовку к ноге.

В наступившей глубокой тишине, как и прежде, но даже еще явственней, слышались рокочущие звуки песни.

Наконец Дрого все понял, и по спине его медленно пополз холодок. Да это же вода, голос далекого водопада, с грохотом срывавшегося с ближних скалистых склонов. Ветер колебал длинную водяную струю, таинственно играло эхо, камни по-разному отзывались на удары струи, и все это создавало иллюзию человеческого голоса, бормотавшего и бормотавшего какие-то слова, слова нашей жизни, и, как всегда бывает, казалось, еще немного – и ты их поймешь, да не тут-то было.

Выходит, пел не солдат, не человек, способный чувствовать холод, наказание, любовь; пели враждебные ему горы. Какая обидная ошибка, подумал Дрого, может, и в жизни все вот так: мы считаем, что вокруг нас люди, такие же, как мы, но вместо них только холод, только камни, с их непонятным языком. Хочешь пожать руку друга, но твоя протянутая рука безвольно опускается и улыбка гаснет: оказывается, рядом – никого и ты так одинок.

Ветер раздувал великолепную офицерскую шинель, и ее синяя тень на снегу трепетала, как флаг. Часовой стоял неподвижно. Луна медленно, но неуклонно двигалась навстречу рассвету. «Тук-тук», – стучало сердце в груди Джованни Дрого.

XI

Почти два года спустя Джованни Дрого спал ночью у себя в комнате, в Крепости. Целых двадцать два месяца прошли, не принеся ничего нового, а он все чего-то ждал, словно жизнь именно к нему обязана была проявить особую щедрость. Но двадцать два месяца – срок немалый, за такое время много всякого может произойти: заводятся семьи, рождаются и даже начинают говорить дети; там, где был пустырь, вырастает большой дом; красавица стареет и становится никому не нужной; болезнь, даже самая затяжная, возникнув (пусть обреченный, не зная о ней, продолжает жить беспечно), постепенно подтачивает организм, на короткое время отступает, создавая иллюзию выздоровления, а потом снова находит для себя местечко поглубже и уносит последние надежды; за это время можно похоронить человека и забыть об умершем настолько, что его сын снова станет смеяться и по вечерам безмятежно прогуливаться с девушками по аллеям мимо кладбищенской ограды.

А вот жизнь Дрого вроде бы остановилась. Казалось, события одного и того же дня повторялись сотни раз, без малейшего изменения. Река времени текла над Крепостью, медленно разрушала ее стены, уносила вниз пыль и обломки камней, стачивала ступеньки и цепи, но Дрого не задевала: ей пока еще не удалось втянуть его в свой водоворот.

И эта ночь прошла бы, как все прочие, если бы Дрого не приснился сон. Он увидел себя снова ребенком, сидящим ночью на подоконнике.

Прямо напротив его дома в лунном свете сиял фасад роскошного особняка. Все внимание маленького Дрого было приковано к высокому узкому окну, увенчанному мраморным фронтоном. Луна, проникая через стекла, освещала накрытый скатертью стол, а на нем вазу и несколько статуэток из слоновой кости. Даже по этим немногочисленным предметам, открывшимся его взору, можно было предположить, что там, за ними, в темноте таится обширный зал, первый из бесконечной анфилады помещений, набитых разными ценными вещами, и что весь особняк погружен в сон – в тот глубокий и завидный сон, которым спят обычно богатые и счастливые люди. Какое удовольствие, думал Дрого, жить в этих залах, часами бродить по ним, открывая для себя все новые и новые сокровища.

Но тут между окном, из которого он выглядывал, и чудесным особняком, находившимся от него в каких-нибудь двадцати метрах, появились зыбкие колышущиеся призраки, похожие на волшебных фей со сверкающими под луной длинными вуалевыми шлейфами.

Появление во сне существ, никогда не встречавшихся ему в реальном мире, не удивило Джованни. Они медленно роились в воздухе, настойчиво кружа возле узкого окна.

По самой своей природе эти видения были как бы естественной принадлежностью особняка, и все-таки то, что они не обращали никакого внимания на Дрого и ни разу даже не приблизились к его дому, казалось обидным. Выходит, даже феи избегают обыкновенных детей и тянутся к баловням судьбы, которые о них и не думают, а спят себе преспокойно под шелковыми балдахинами?

– Эй... Эй... – робко подал голос Дрого, чтобы привлечь к себе внимание призраков, хорошо, однако, сознавая, что это бесполезно.

И действительно, они ничего вроде бы не слышали и никто из них не приблизился к его подоконнику даже на метр.

Но вот одно из волшебных существ уцепилось за раму того узкого окна и неким подобием руки тихонько постучалось в стекло, как бы вызывая кого-то.

И почти тотчас хрупкая тоненькая фигурка – такая крошечная на фоне внушительных размеров окна – показалась за стеклами, и Дрого узнал Ангустину – тоже ребенка.

Необычайно бледный Ангустина был в бархатном костюмчике с белым кружевным воротником; его, насколько мог судить Дрого, совершенно не устраивала эта беззвучная серенада.

Джованни надеялся, что товарищ хотя бы просто из вежливости пригласит его поиграть с призраками. Ничего подобного. Ангустина вроде бы и не замечал приятеля и не взглянул в его сторону, даже когда Джованни окликнул: «Ангустина! Ангустина!»

Вялым жестом Ангустина открыл окно и как-то по-своейски наклонился к уцепившемуся за подоконник призраку, словно желая с ним поговорить. Призрак указал на что-то, и Дрого, проследив этот жест взглядом, увидел просторную, совершенно пустую площадь перед домами. Над этой площадью, метрах в десяти от ее поверхности, двигался по воздуху маленький кортеж новых призраков, которые несли паланкин, с виду состоявший из того же вещества, что и они сами. Паланкин был весь украшен кисейными лентами и плюмажем. Ангустина со свойственным ему выражением отчужденности и скуки смотрел на приближающуюся процессию; было ясно, что паланкин предназначен ему.

Дрого глубоко уязвила такая несправедливость. Почему все Ангустине, а ему ничего? Ладно бы кому другому, но именно Ангустине, всегда такому надменному, спесивому!... Дрого посмотрел на другие окна в надежде найти кого-нибудь, кто мог бы за него вступиться, но никого больше не было.

Наконец паланкин, покачиваясь в воздухе, остановился подле окна, и все призраки разом сгрудились вокруг него, образовав что-то вроде трепещущего венка. Все свое внимание они сосредоточили на Ангустине, но в этом внимании угадывалась уже не прежняя почтительность, а жадное, даже недоброе любопытство. Предоставленный самому себе паланкин будто на невидимых нитях повис в воздухе.

И Дрого вдруг перестал завидовать, ибо осознал наконец смысл происходящего. Он видел Ангустину, стоявшего во весь рост на подоконнике, видел его глаза, устремленные на паланкин. Да, именно к нему явились посланцы фей в эту ночь, но с какой миссией! Видно, в дальнюю дорогу повезет его паланкин, и уж не вернется он больше ни на рассвете, ни следующей ночью, ни еще через ночь – никогда. Залы дворца тщетно будут ждать своего маленького хозяина, две женские руки осторожно закроют окно, которое беглец оставит распахнутым, да и все остальные окна запрут на засов, чтобы скрыть в темноте слезы и отчаяние.

Призраки, такие поначалу приветливые, явились, выходит, не для того, чтобы поиграть в лунных лучах; эти невинные создания вышли не из ароматных садов, а из преисподней.

Другие дети стали бы плакать, звать маму, Ангустина же не испугался, а спокойно разговаривал с призраками, словно хотел уточнить кое-какие детали.

Приникнув к окну, призраки, напоминавшие взбитую пену, теснились, отталкивая друг друга, и тянулись к ребенку, а тот все кивал: ладно, ладно, мол, все в полном порядке.

Наконец призрак, первым уцепившийся за край окна – наверное, их предводитель, – сделал короткий повелительный жест. Ангустина, все с тем же скучающим видом, перешагнул через подоконник (казалось, он тоже стал невесомым, как призрак), грациозно ступил в паланкин и уселся, положив ногу на ногу. Гроздь призраков распалась, растворилась среди колышущейся кисеи, и заколдованный экипаж мягко тронулся с места.

И опять образовался кортеж; видения, описав полукруг в пространстве между домами, потянулись в небо, к луне. Следуя по этой дуге, паланкин проплыл в нескольких метрах от окна Дрого, который замахал, словно пытался послать другу прощальный привет: «Ангустина! Ангустина!»

Только тогда умерший товарищ повернул голову к Джованни и на мгновение задержал на нем не по летам серьезный взгляд. Но постепенно на лице Ангустины появилась заговорщическая улыбка: он как бы давал Дрого понять, что им двоим известно многое такое, чего не знают призраки; это была последняя попытка пошутить, последняя возможность показать, что он, Ангустина, не нуждается ни в чьей жалости; самое обычное дело, казалось, говорил он, глупо даже удивляться.

Паланкин уносил Ангустину все дальше, и вот он уже оторвал взгляд от Дрого и с веселым, но и недоверчивым любопытством стал смотреть вперед, туда, куда двигался кортеж.

Вид у него был как у ребенка, который получил в подарок в общем-то ненужную ему игрушку, но из вежливости не может от нее отказаться.

Вот так, с каким-то сверхчеловеческим благородством, Ангустина удалился в ночь, даже не оглянувшись на свой дом, на дремавшую внизу площадь, на другие дома, на свой родной город. Кортеж медленно змеился в небе, уходя все выше, выше, и превратился сначала в растянутый шлейф, потом в сгусток тумана, потом – в ничто.

Окно осталось открытым, лунные лучи еще падали на стол, вазу, статуэтки из слоновой кости – все продолжало спать. Там, позади, в другой комнате, в мерцании свечей, осталось лежать на кровати безжизненное тело маленького человека, лицом походившего на Ангустину. Наверно, на нем был бархатный костюмчик с большим кружевным воротником, а на его белых губах застыла улыбка.

XII

На следующий день Джованни Дрого командовал караулом на Новом редуте. Это был небольшой форт в сорока пяти минутах ходьбы от Крепости, возведенный отдельно на вершине скалистой горы над самой Татарской пустыней. Он считался главным, совершенно самостоятельным постом охраны, перед которым стояла задача первым подать сигнал тревоги в случае нападения.

Вечером Дрого выступил из Крепости со своим отрядом в семьдесят человек (именно столько требовалось на Новом редуте солдат, помимо двух канониров), так как там было десять караульных постов. Дрого впервые оказался за пределами Крепости и, в сущности, впервые переступил границу.

Джованни сознавал всю ответственность этого дежурства, но мысли его были заняты главным образом приснившимся ему Ангустиной. Сон оставил в его душе глубокий след: казалось, в нем содержался какой-то смутный намек на будущее, хотя Дрого не был слишком уж суеверен.

По прибытии на Новый редут была произведена смена караула, потом отдежуривший отряд ушел, и Джованни, стоя на краю верхней площадки, смотрел, как он удаляется, пересекая галечники. Сама Крепость отсюда казалась очень длинной стеной, просто стеной, за которой ничего нет. Разглядеть часовых с такого расстояния он не мог. Виден был только флаг, да и то лишь тогда, когда его начинало трепать ветром.

Целые сутки Дрого будет единственной властью на этом отдаленном Редуте. Что бы ни случилось, помощи просить неоткуда. Даже если появится неприятель, маленький форт должен будет защищаться своими силами. Да, в ближайшие двадцать четыре часа сам король значил бы в этих стенах меньше, чем Дрого.

В ожидании ночи Дрого разглядывал северную равнину. Из Крепости можно было видеть только небольшой треугольный участок пустыни, остальное загораживали горы. А теперь она просматривалась вся, до самого горизонта, как обычно затянутого пеленой тумана. Перед ним была пустыня, усеянная обломками скал и кое-где покрытая лишаями низкого пыльного кустарника. Справа, далеко-далеко, чернела какая-то полоска – очевидно, лес. С флангов подступали цепи суровых гор. Среди них были и необыкновенно красивые – с высоченными отвесными склонами, с вершинами, побеленными первым осенним снегом. Но никто ими не любовался: и Дрого, и солдаты инстинктивно смотрели только на север, на унылую равнину, безжизненную и загадочную.

То ли от сознания, что он один несет всю ответственность за форт, то ли от вида этой пустынной местности, то ли из-за странного сна, в котором он видел Ангустину, Дрого чувствовал, как с приближением ночи душа его наполняется безотчетной тревогой.

Стоял октябрьский вечер, погода была неустойчивая, в свинцово-серых сумерках гасли один за другим непонятно откуда падавшие на землю красноватые блики.

На закате Дрого всегда охватывало нечто вроде поэтического вдохновения. Это был час надежд. И Дрого стал перебирать в памяти героические картины, неоднократно приходившие ему в голову во время долгих дежурств и каждый раз обраставшие все новыми подробностями. Чаще всего он рисовал в своем воображении яростную схватку горстки возглавляемых им солдат с бесчисленным вражеским войском. Вот ночью на Новый редут совершает набег многотысячная татарская орда. Он сдерживает ее натиск на протяжении нескольких дней; почти все его товарищи уже убиты или ранены. Шальная пуля задевает и его: рана, конечно, серьезная, но не настолько, чтобы ему пришлось сложить с себя командование. Однако патроны уже на исходе, и он с забинтованной головой решается вести свой небольшой отряд на прорыв. Наконец прибывает подкрепление, враг разбит и обращен в бегство, а сам он, не выпуская из рук окровавленной сабли, падает без сознания. Кто-то пытается привести его в чувство и зовет по имени: «Лейтенант Дрого, лейтенант Дрого». И он, Дрого, медленно открывает глаза: это король. Сам король склонился над ним и благодарит за отвагу.

Это был час надежд, когда Джованни выдумывал всякие героические истории, которым, по-видимому, никогда не суждено сбыться, но которые так скрашивают жизнь. Иногда Дрого довольствовался гораздо более скромными фантазиями: пусть не он один окажется героем, пусть не будет раны и даже короля, благодарящего его за отвагу. Пусть будет обыкновенное сражение, одноединственное, но тяжелое: он идет по всей форме в атаку и с хладнокровной

улыбкой бросается навстречу каменным лицам врагов. Одна только битва, но и она, вероятно, могла бы сделать его счастливым на всю оставшуюся жизнь.

В тот вечер, однако, нелегко было чувствовать себя героем. Сумерки уже окутали мир, северная равнина стала совершенно бесцветной, но еще не погрузилась в сон и, казалось, затаила в себе что-то коварное.

Было уже восемь часов, все небо затянуло облаками, и тут Дрого показалось, что на равнине, справа, как раз под Редутом, движется небольшое черное пятно. Наверно, глаза у меня устали, подумал он. Да, я слишком долго вглядывался, вот глаза и устали, и теперь мне мерещатся какие-то пятна. Такое уже с ним случалось, когда он мальчишкой сидел по ночам над учебниками.

Дрого попробовал на несколько мгновений закрыть глаза, потом перевести взгляд на предметы, находившиеся поблизости: на ведро для мытья террасы, на железный крюк в стене, потом на скамейку, на которой, очевидно, сидел сменившийся офицер. И только через несколько минут снова посмотрел вниз, туда, где ему померещилось черное пятно. Оно не исчезло и все так же медленно двигалось.

– Тронк! – взволнованно крикнул Дрого.

– Слушаю, господин лейтенант! – мгновенно откликнулся тот, и голос его прозвучал так неожиданно близко, что Джованни даже вздрогнул.

– А, вы здесь? – сказал он, приободрившись. – Тронк, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется... Мне кажется, что там, внизу, движется какой-то предмет.

– Так точно, господин лейтенант, – ответил Тронк уставным тоном. – Я уже несколько минут за ним наблюдаю.

– Как?! – воскликнул Дрого. – И вы заметили? Что же вы видите?

– Тот самый движущийся предмет, господин лейтенант.

Дрого почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Ну вот, начинается, подумал он, начисто забыв о своих героических фантазиях, именно со мной это должно было случиться. Теперь жди какой-нибудь неприятности.

– Ах, стало быть, вы тоже видите? – переспросил он в тщетной надежде, что Тронк ответит отрицательно.

– Да, господин лейтенант, – отозвался Тронк. – Уже минут десять. Я ходил вниз, проверять, как чистят пушки, потом поднялся сюда и увидел...

Оба немного помолчали; должно быть, и для Тронка все было тревожно и непонятно.

– Как по-вашему, Тронк, что бы это могло быть?

– Не могу взять в толк. Слишком медленно оно движется.

– Как это – слишком медленно?

– Да, сначала я подумал, что это метелки тростника.

– Метелки? Что еще за метелки?

– Там внизу, подальше, есть заросли тростника, – сказал Тронк, указывая рукой куда-то вправо, хотя жест этот не имел смысла, поскольку в темноте ничего не было видно. – В это время года на тростнике появляются черные метелки. Иногда ветер обрывает их – они же легкие – и гонит по земле, как клубы дыма... Но здесь что-то другое, – добавил он после паузы. – Метелки бы катились быстрее.

– Так что же это может быть?

– Никак не пойму, – повторил Тронк. – На людей не похоже, они бы подошли с другой стороны. И потом, оно продолжает двигаться. Непонятно.

– Тревога! Тревога!

Это крикнул часовой, находившийся поблизости. За ним закричал другой, третий... Они тоже увидели черное пятно. Потом его заметили солдаты, отдохавшие в караулке. Все сгрудились у бруствера и смотрели вниз с любопытством, к которому примешивался и страх.

– Ты что, не видишь? – говорил один. – Ну вон же, прямо под нами. Вот, остановилось.

– Наверно, это туман, – предполагал другой. – В тумане бывают просветы, и тогда видно, что там, под ним. Вроде бы что-то шевелится, а на самом деле это дыры в тумане.

– Да-да, теперь и я вижу, – слышался еще один голос. – Но эта темная штукавина стоит на одном и том же месте, похоже, что там просто черный валун, вот и все.

– Какой еще валун! Разве не видишь, оно движется? Ты что, ослеп?

– А я говорю – валун. Я его давно приметил, черный валун, похожий на монашку.

Кто-то засмеялся.

– Пошли, пошли отсюда. Сейчас же все в помещение, – вмешался Тронк, опередив лейтенанта, которого эти разговоры встревожили еще больше.

Солдаты неохотно возвратились в караулку, и опять стало тихо.

– Тронк, – спросил Дрого, не отваживавшийся на самостоятельное решение, – вы не думаете, что надо объявить тревогу?

– В смысле – сообщить в Крепость? В смысле – пальнуть в воздух, господин лейтенант?

– Да я и сам не знаю. Как по-вашему, стоит поднимать тревогу?

Тронк покачал головой.

– Я бы подождал, когда развиднеется. Если выстрелим, всю Крепость поднимем на ноги. А окажется, что там ничего и нет.

– Пожалуй, – согласился Дрого.

– К тому же, – добавил Тронк, – это было бы не по уставу. В уставе сказано, что тревогу можно объявлять лишь в случае опасности, прямо так и говорится: «В случае опасности, при появлении вооруженного противника и если подозрительные лица приблизятся к пограничной стене на расстояние, не превышающее ста метров». Вот что говорится в уставе.

– В общем, да, – сказал Дрого, – а тут, наверное, побольше ста метров будет, правда?

– Я тоже так думаю, – кивнул Тронк. – И потом, мы ведь не уверены, что это человек.

– А что же, по-вашему? – возразил Дрого несколько раздраженно. – Привидение?

Тронк ничего не ответил.

В нерешительности, дожидаясь, когда пройдет эта бесконечная ночь, Дрого и Тронк стояли, опершись о парапет, и напряженно смотрели вниз, туда, где начиналась Татарская пустыня. Загадочное темное существо вроде бы остановилось, уснуло, и Джованни понемногу стал успокаиваться, думая, что там и впрямь ничего нет – просто черный валун, по очертаниям напоминающий монахиню, или это обман зрения, нелепая галлюцинация – все от усталости.

Теперь он даже испытывал смутное разочарование: так бывает, когда самые важные часы жизни проносятся мимо, не задев нас, и их грохот затихает вдаль, а мы остаемся в одиночестве среди взвихренных сухих листьев, сожалея о том, что упустили опасный, но славный момент.

Ночь все тянулась, и из темной долины снова повеяло страхом. Ночь тянулась, и Дрого чувствовал себя ничтожным и одиноким. На дружескую поддержку Тронка рассчитывать не приходилось: слишком уж они были разными. Вот если бы рядом находились его товарищи – хотя бы один, тогда другое дело, тогда у Дрого достало бы сил даже на шутку и ожидание рассвета не было бы таким мучительным.

А языки тумана все ползли и ползли по равнине, образуя призрачный архипелаг в черном океане. Один из них протянулся у самого подножия Редута, накрыв тот таинственный предмет. Все вокруг было пронизано сыростью; шинель Дрого пропиталась влагой и обвисла тяжелыми складками.

Какая долгая ночь! Он уже потерял надежду, что она когда-нибудь кончится, но небо вдруг начало бледнеть, и порывы ледяного ветра возвестили о близком рассвете. И тут на Дрого навалился сон. Продолжая стоять у парапета, он уже дважды ронял голову и дважды, вздрогнув, поднимал ее. В конце концов она безвольно свесилась на грудь, и налитые тяжестью веки сомкнулись. Нарождался новый день.

Проснулся Дрого оттого, что кто-то тронул его за руку. Он с трудом стряхнул с себя сон, поражаясь тому, что уже совсем светло. Раздался чей-то голос – Тронка, конечно:

– Господин лейтенант, это лошадь.

Только тут он вернулся к действительности, вспомнил о Крепости, о Новом редуте, о загадочном черном пятне. И сразу же глянул вниз, горя желанием все узнать и в глубине души трусливо надеясь увидеть там одни лишь камни и кусты – ничего, кроме равнины, какой она была всегда – безлюдной, пустынной.

Но голос рядом все повторял:

– Господин лейтенант, это лошадь.

И Дрого действительно увидел эту фантастическую лошадь, неподвижно стоявшую у подножия скалы.

Небольшая, приземистая, но упитанная лошадка, по-своему даже красивая – с сухими ногами и длинной гривой. Выглядела она странно, но больше всего поражала ее масть: иссиня-черная, резко выделявшаяся на фоне тусклой равнины.

Откуда она взялась? Чья она? Ни одно живое существо – кроме ворон и гадюк – уже много лет не заносило в эти места. А тут лошадь, да к тому же сразу видно, что не дикая, а отличный экземпляр, настоящая боевая лошадка (разве что ноги чуть тонковаты).

Это было поразительно, это настораживало. Дрого, Тронк, часовые, да и другие солдаты, выглядывавшие из бойниц нижнего этажа, не могли оторвать от нее глаз. Появление лошади не укладывалось ни в какие уставы, воскрешало в памяти древние легенды о севере, о татарских ордах и битвах, наполняло своей таинственностью всю пустыню.

Сам по себе этот факт был не таким уж значительным, но ведь вслед за лошадью должно непременно появиться что-то еще. На лошадке было хорошо притороченное седло, как будто совсем недавно кто-то ехал на ней верхом. В общем, история была непонятная, и то, что до вчерашнего дня считалось нелепым предрассудком, сегодня могло оказаться правдой. Дрого мерещилось присутствие

врагов, татар, распластавшихся в кустах, в расщелинах скал, замерших в неподвижности с крепко стиснутыми зубами: они ждали лишь наступления ночи, чтобы совершить свой набег. А за это время могли подтянуться их главные силы: грозная кишашая орда, вынырывающая из северного тумана. Без музыки, без песен, без сверкающих сабель и красивых знамен. Оружие у них матовое, чтобы его не демаскировали солнечные блики, и даже кони приучены не ржать.

Но одна лошадка – именно так сразу же и подумали на Новом редуте – одна лошадка сбежала и, опередив противника, тем самым выдала его. Враги, вероятно, еще не заметили пропажи, поскольку животное сбежало из лагеря ночью.

Таким образом, лошадка принесла важную весть. Но насколько она опередила своих хозяев? До наступления вечера Дрого ничего не сумеет сообщить командованию Крепости, а татары между тем вот-вот могут нагряться.

Выходит, надо объявить тревогу? Тронк не советовал: в конце концов, это всего-навсего лошадь, а оказалась она возле Редута потому, что отбилась от хозяина, а ее хозяин – возможно, охотник-одиночка – по неосторожности заехал в пустыню и погиб там или заболел. Лошадь осталась одна, стала бродить по пустыне, ища спасения, и, почуяв в Крепости присутствие людей, ждет, что ей принесут овса.

Так утверждал Тронк, ставя под сомнение версию о том, что к Крепости приближается враг. Животное в такой необитаемой местности вряд ли покинет свой лагерь. И потом, говорил Тронк, он слышал, что кони у татар почти все как есть белые. На старинной картине, висящей в одном из залов Крепости, изображены татары верхом на белых скакунах, а эта лошадь черная как смоль.

И Дрого после долгих колебаний все же решил дожидаться вечера. Небо между тем порозовело, солнце залило все своим горячим светом, и солдаты, согревшись, приободрились. Да и Джованни с наступлением дня немного успокоился: соображения насчет татар утратили свою убедительность, все вновь обрело нормальные пропорции, животное оказалось обыкновенной лошадью, и ее появление можно было объяснить как угодно, а вовсе не обязательно наступлением противника. И тут, позабыв о ночных страхах, он вдруг понял, что готов к любым приключениям, и душа его наполнилась радостным предчувствием: уж не сама ли судьба стучится к нему в дверь? Счастливая судьба, которая может возвысить его над всеми прочими людьми.

Он с удовольствием лично позаботился о самых мелких формальностях караульной службы, словно хотел доказать Тронку и солдатам, что появление лошади, каким бы странным и тревожным оно ни было, его лично несколько не беспокоило; именно так, думал он, и поступают настоящие офицеры.

Солдаты же, по правде говоря, не испугались; появление лошади вызвало всякие шуточки, и всем ужасно хотелось поймать ее и отвести как трофей в Крепость. Один из солдат попросил даже у старшего сержанта разрешения сходить за лошадью, но тот лишь укоризненно глянул на него, давая понять, что, когда речь идет о службе, шуточки неуместны. А этажом ниже, там, где были установлены пушки, один из канониров при виде лошади страшно разволновался. Звали его Джузеппе Лаццари, был он еще совсем молод и на службу поступил недавно. Он утверждал, что лошадь эта – его собственная, он ее сразу узнал, и ошибки тут быть не может: наверно, ее упустили, когда водили из Крепости на водопой.

– Да это же Фьокко, мой Фьокко! – вопил он так, словно его обокрали.

Спустившийся вниз Тронк сразу же велел прекратить этот крик и строго объяснил Лаццари, что его лошадь убежать никак не могла: чтобы попасть на северную равнину, ей пришлось бы перебраться либо через крепостную стену, либо через высокие горы.

Но Лаццари возразил, что есть какой-то проход – он сам слышал, – удобный проход в скалах, древняя, заброшенная дорога, о которой все уже позабыли. И верно, в Крепости помимо прочих ходила и такая легенда. Скорее всего, это была выдумка, так как никто никогда не видел даже следов той дороги. Справа и слева от Крепости на протяжении многих километров вздымались дикие горы, и перебраться через них было невозможно.

Но солдат не унимался, он прямо из себя выходил от мысли, что ему велют сидеть в Редуте и не позволяют забрать свою лошадь, хотя и дела тут всего на полчаса.

Между тем время шло, солнце клонилось к западу, в установленные сроки сменялись часовые, пустыня слепила глаза, безжизненная, как никогда, а лошадка была на прежнем месте: то стояла совсем неподвижно, будто спала, то бродила вокруг в поисках чахлой травки. Дрого выжидаяще глядел вдаль, но ничего нового не замечал. Все те же отвесные скалы, туман далеко на севере и кусты, с приближением вечера постепенно менявшие свой цвет.

Явился сменный караульный отряд. Дрого и его солдаты вышли из Редута и направились через галечные россыпи к Крепости, на которую уже напоздали синие вечерние тени. Когда подошли к крепостным стенам, Дрого произнес пароль за себя и за своих людей, ворота открылись, сменившийся патруль выстроился в небольшом дворике, и Тронк начал перекличку. Дрого же направился к коменданту, чтобы сообщить ему о странной лошади.

Как предписывалось уставом, сначала Дрого доложил о своем прибытии капитану-поверяющему, потом они вместе пошли искать полковника. Обо всяких новостях, как правило, сообщали старшему адъютанту, но на этот раз происшествие было слишком серьезным, чтобы терять время.

А слух о лошади молниеносно облетел Крепость. На самых отдаленных фланговых постах форта уже поговаривали о татарской коннице, ставшей лагерем у подножия скал. Полковник, узнав новость, сказал только:

– Зря не попытались взять эту лошадь, если на ней седло, мы могли бы узнать, откуда она.

Но было уже поздно, так как солдат Джузеппе Лаццари, когда патруль возвращался в Крепость, спрятался за огромным валуном, и никто этого не заметил. Потом он спустился вниз по галечнику, взял лошадку и теперь возвращался с ней в Крепость. К своему удивлению, он обнаружил, что лошадь-то не его, но теперь это уже не имело значения.

Только когда отряд вступил в Крепость, кто-то из товарищей Лаццари заметил, что он исчез. Если узнает Тронк, сидеть Лаццари на гауптвахте не меньше двух месяцев. Нужно было спасать товарища. И потому, когда старший сержант, делая перекличку, дошел до Лаццари, кто-то откликнулся за него: «Я».

А через несколько минут солдаты, уже разбредавшиеся по двору кто куда, вспомнили, что Лаццари не знает пароля. Здесь уже дело пахло не гауптвахтой, а смертью: как только он подойдет к стенам Крепости, в него по уставу должны стрелять. Несколько солдат тотчас побежали искать Тронка: надо же было что-то придумать.

Да поздно! Лаццари, держа черную лошадку под уздцы, уже подходил к Крепости. А Тронк как раз стоял на стене, куда его привело какое-то смутное предчувствие. Сразу же после поверки старшего сержанта охватило беспокойство; причины его он определить не мог, но чуяла его душа, что не все в порядке. Перебрав в памяти события дня, он добрался до момента возвращения в Крепость, так и не обнаружив ничего подозрительного. И вдруг словно обо что-то споткнулся; да, во время поверки был какой-то сбой, но в тот момент, как это часто бывает в подобных случаях, Тронк не придавал ему значения.

Один из часовых стоял на посту над самыми крепостными воротами. В сумерках он увидел на галечнике метрах в двухстах от себя две приближающиеся черные фигуры. Сперва часового это не насторожило: мало ли, что может померещиться; в таких глухих местах, когда постоянно чего-то ждешь, нередко даже среди бела дня видишь силуэты людей, ползущих среди камней и кустов, и начинает казаться, что кто-то за тобой подглядывает, а потом идешь проверять и убеждаешься, что никого там нет.

Чтобы отвлечься, часовой огляделся по сторонам, махнул рукой товарищу – часовому, ходившему по стене правее, метрах в тридцати от него, поправил свою тяжелую, жавшую лоб шапку, поглядел налево и увидел старшего сержанта Тронка, который стоял неподвижно и не сводил с него сурового взгляда.

Часовой подтянулся, снова посмотрел вперед, убедился, что те две фигуры ему не померещились и находятся уже совсем близко – метрах в семидесяти. Да, это были солдат и лошадь. Часовой вскинул винтовку, взвел курок и, застыв в позиции, которую они сотни раз отработывали на учениях, крикнул:

– Стой, кто идет?

Лаццари был новичок и понятия не имел о том, что без пароля в Крепость ему не войти. Самое большее, чего он боялся, так это наказания за самовольную отлучку; но, может, полковник и простит его. Какую лошадь добыл! Красивая, и генералу б подошла.

До Крепости оставалось метров сорок. Уже было слышно, как лошадиные подковы цокают по камням. Почти совсем стемнело, издали донесся сигнал трубы.

– Стой, кто идет? – повторил часовой. Еще раз – и придется стрелять.

При первом окрике часового Лаццари вдруг охватило беспокойство. Ему было странно, что именно теперь, когда он оказался в затруднительном положении, брат-солдат встречает его так грозно, но, услышав вторично: «Стой, кто идет?», он успокоился, узнав голос приятеля из своей же роты, которого все звали попросту Чернявый.

– Это я, Лаццари! – крикнул он. – Скажи командиру поста, чтобы мне открыли! Я коня привел. Только без шума, а то меня еще посадят!

Часовой не шелохнулся. Вскинув винтовку, он не двигался, оттягивая до последнего свое третье: «Стой, кто идет?» Может, сам Лаццари догадается о грозящей ему опасности, отступит назад, а завтра попытается как-нибудь примкнуть к караулу, возвращающемуся с Нового редута. Но в нескольких метрах от часового стоял Тронк, не сводивший с него сурового взгляда.

Ни единого слова не произнес Тронк, лишь поглядывал то на часового, то на Лаццари, из-за которого, наверно, его самого накажут. Что означали эти его взгляды?

Солдат с лошастью подошли уже метров на тридцать: выждать дольше было неразумно. Чем ближе подходил Лаццари, тем становилось яснее, что часовой не промахнется.

– Стой, кто идет? – в третий раз крикнул он уже другим голосом: в нем явно звучало предостережение приятелю, не имеющее ничего общего с уставом. В этом крике так и слышалось: «Отходи назад, пока не поздно! Хочешь напороться на пулю?»

И тут вдруг до Лаццари что-то дошло: мгновенно вспомнив суровый закон Крепости, он понял, что теперь ему конец. Но непонятно почему, вместо того чтобы бежать прочь, он отпустил повод и пошел дальше один, громко крича:

– Это я, Лаццари! Ты что, не видишь? Чернявый, эй, Чернявый! Это я! Чего выставил винтовку? С ума, что ли, сошел, а, Чернявый?

Но на стене стоял уже не Чернявый, а обыкновенный солдат с каменным лицом и медленно поднимал дуло, целясь в своего друга. Уперев приклад в плечо, он все еще косил глазом в сторону старшего сержанта, с безмолвным отчаянием ожидая приказа: отставить. Тронк же по-прежнему был неподвижен и сверлил его взглядом.

Лаццари, не оборачиваясь и спотыкаясь о камни, отступил на несколько шагов.

– Это же я, Лаццари! – снова закричал он. – Не видишь, это я? Не стреляй, Чернявый!

Но то был уже не Чернявый, любивший позубоскалить с приятелями, а просто часовой Крепости в военной форме из темно-синего сукна с кожаной портупеей, такой же солдат, как все в этой ночи; обыкновенный часовой, который прицелился и уже нажимал на спусковой крючок. Сквозь сильный шум в ушах он вроде бы слышал хриплый голос Тронка: «Целься точнее», хотя в действительности Тронк и рта не раскрыл.

Из дула вылетел сгусток огня, за ним – крошечное облачко дыма. В первое мгновение выстрел показался даже не очень громким, но после, многократно отраженный горами, он долго сотрясал воздух, медленно затухая вдали, как раскаты грома.

Теперь, выполнив свой долг, часовой приставил винтовку к ноге, перегнулся через бруствер и посмотрел вниз, надеясь, что промахнулся. В темноте ему и впрямь показалось, что Лаццари не упал.

Да, Лаццари стоял рядом с потянувшейся к нему лошастью. Потом в наступившей после выстрела тишине раздался его полный отчаяния голос:

– Ты же убил меня, Чернявый!

С этими словами он медленно повалился ничком. Тронк с непроницаемым лицом стоял все так же неподвижно, а в лабиринтах Крепости поднялась предвоенная суета.

XIII

Таково было начало той памятной ночи, наполненной ветром, отблесками качающихся фонарей, необычными сигналами грубы, грохотом сапог в переходах, облаками, которые стремительно налетали с севера и, цепляясь за верхушки скал, оставляли на них свои клочья, но задержаться не могли: что-то очень важное влекло их дальше.

Достаточно было одного выстрела, простого винтовочного выстрела, чтобы вся Крепость встрепенулась. Годами здесь царила тишина: все вечно

прислушивались к северу, чтобы вовремя уловить голос надвигающейся войны, – слишком долго она длилась, эта тишина. Теперь вот раздался винтовочный выстрел – точно отмеренное количество пороха и свинцовая пуля, – но люди переглянулись так, словно только и ждали этого сигнала.

Конечно, и в тот вечер никто, кроме нескольких солдат, не произнес вслух слова, которое было у всех на уме. Офицеры предпочитали помалкивать, чтобы не спугнуть надежду. Разве не для войны с татарами возведены стены Крепости, разве не ради нее все тратят здесь годы своей жизни, разве не из-за татар часовые как заведенные денно и ночью вышагивают на своем посту? Одни каждое утро просыпаются с новой надеждой, другие загоняют ее поглубже, а третьи не знают даже, есть она или нет, может, они вообще ее потеряли. Но ни у кого не хватает смелости заговорить о ней вслух – это считается дурной приметой, а главное – кто же станет делиться своими самыми сокровенными мыслями? Солдатам такое не пристало.

Итак, пока есть один убитый солдат да еще лошадь неизвестного происхождения. В караульном отряде у ворот, выходящих на север, где как раз и случилось несчастье, все очень взбудоражены, и, хотя это не предусмотрено уставом, именно там сейчас находится Тронк, удрученный мыслями о грозящем ему наказании; ответственность за случившееся ложится именно на него: кто, как не он, допустил отлучку Лаццари, кто, как не он, должен был по возвращении заметить, что солдат не отозвался во время поверки?

Вот случай майору Матти продемонстрировать знание дела и употребить свою власть. По лицу его ничего не угадаешь, кажется даже, будто он улыбается. Однако же майор прекрасно осведомлен о происшедшем и приказывает дежурному по Редуту лейтенанту Ментане подобрать труп солдата.

Ментана – офицер неприметный, самый пожилой лейтенант в Крепости: не имей он на пальце кольца с крупным алмазом и не играй хорошо в шахматы, никто бы о нем и не вспоминал. Драгоценный камень на его безымянном пальце действительно велик, и редко кому удается одержать над ним победу за шахматной доской, но перед майором Матти он трепещет и, получив такой простой приказ – послать людей за убитым, совсем теряет голову.

На его счастье, майор Матти, заметив стоящего в уголке старшего сержанта Тронка, подзывает его:

– Тронк, поскольку вам здесь делать нечего, возьмите выполнение этой операции на себя!

Произносит он это таким естественным тоном, словно Тронк – обычный унтер и личного касательства к происшедшему не имеет. Матти не привык делать выговоры непосредственно провинившимся и бледнеет от злости, подыскивая необходимые слова: ему по душе всякие обстоятельные расследования с долгими допросами и протоколами, от которых самый незначительный проступок разрастается до чудовищных масштабов и почти всегда влечет за собой серьезное наказание. Тронк не моргнув глазом отвечает:

– Слушаюсь, господин майор! – и спешит в ближайший к воротам дворик.

Вскоре небольшой отряд, запасшись фонарями, выходит из Крепости: во главе выступает Тронк, за ним следуют четверо солдат с носилками, за ними – на всякий случай – еще четверо вооруженных рядовых. Замыкает шествие, кутаясь в линялый плащ и волоча саблю по камням, сам майор Матти.

Лаццари они находят в том положении, в каком его настигла пуля: лицом вниз, с вытянутыми вперед руками. Винтовка, висевшая у него через плечо, застряла между двумя камнями и торчит прикладом вверх, являя собой странное зрелище. Падая, солдат поранил себе руку, и, прежде чем его тело успело остыть, из ранки вытекло немного крови, темнеющей сейчас на белом камне. Таинственная лошадь исчезла.

Тронк склоняется над мертвым, чтобы взять его за плечи и перевернуть, но тут же отдергивает руки, как бы вспомнив, что по уставу это не положено.

– Поднимите его, – тихо и зло приказывает он солдатам. – Но сначала надо снять винтовку.

Один из солдат наклоняется, чтобы отстегнуть ремень, и ставит свой фонарь на камни рядом с мертвым. Лаццари не успел даже закрыть глаза, и свет фонаря отражается в узкой полоске белков между веками.

– Тронк! – слышится из темноты голос майора Матти.

– Да, господин майор! – отвечает Тронк, вытягиваясь в струнку.

Солдаты тоже замирают.

– Где это случилось? Где именно он сбежал? – спрашивает майор, медленно цедя слова и делая вид, будто спросил просто так, из праздного любопытства. – У источника? Там, где такие большие валуны?

– Так точно, господин майор, там, – отвечает Тронк, не пускаясь в дальнейшие объяснения.

– И никто не заметил, как он сбежал?

– Никто, господин майор.

– Хм, у источника, значит. А что, там было темно?

– Так точно, господин майор, довольно темно.

Тронк еще несколько мгновений стоит навтыяжку, потом, поскольку новых вопросов от Матти не поступает, знаком велит солдатам продолжать свое дело. Один из них пытается отстегнуть ремень винтовки, но пряжку заело и ремень не поддается. Натягивая его, солдат чувствует тяжесть мертвого тела, непомерную, свинцовую тяжесть.

Освободив винтовку, двое солдат осторожно переворачивают убитого на спину. Теперь освещено все его лицо. Губы у Лаццари сомкнуты. Полуприкрытые, остановившиеся и не реагирующие на свет глаза говорят о том, что человек мертв.

– В лоб? – слышится голос майора Матти, сразу заметившего маленькую вмятину у переносицы.

– Простите, господин майор? – Тронк не понял вопроса.

– Я говорю: пуля попала в лоб? – раздраженно повторяет Матти.

Тронк приподнимает фонарь, направляет луч света на лицо Лаццари и, тоже заметив маленькую вмятину, инстинктивно тянется к ней пальцем – пощупать. Но сразу же смущенно отдергивает руку.

– Похоже, так и есть, господин майор, прямо в лоб.

(Почему бы ему самому не подойти и не посмотреть на покойника, если это так его интересует? А то задает всякие глупые вопросы!)

Солдаты, от внимания которых не укрылась растерянность Тронка, продолжают заниматься своим делом: двое подхватывают труп за плечи, двое берут за ноги. Голова, лишенная опоры, страшно откидывается назад. Рот, хоть на нем и лежит ледяная печать смерти, чуть приоткрывается.

– А кто стрелял? – спрашивает Матти, продолжая все так же неподвижно стоять в темноте.

Но Тронк уже не слышит вопроса. Все внимание сержанта сосредоточено сейчас на убитом.

– Поддержите ему голову! – приказывает он с глухой яростью, словно покойник – он сам. Вдруг до него доходит, что Матти снова о чем-то спрашивает, и Тронк вытягивается в струнку. – Простите, господин майор, я тут...

– Я спросил, – внятно повторяет майор Матти, и по его тону ясно, что только присутствие покойника вынуждает его сохранять выдержку. – Я спросил: кто стрелял?

– Вы знаете, как его зовут? – тихо обращается Тронк к солдатам.

– Мартелли, – отвечает кто-то из них. – Джованни Мартелли.

– Джованни Мартелли, – громко повторяет Тронк.

– Мартелли, – раздумчиво произносит майор. (Знакомое имя, должно быть, один из победителей соревнований по стрельбе. Стрелковой подготовкой руководит именно он, майор Матти, и лучших снайперов знает по имени.) – По прозвищу Чернявый, верно?

– Так точно, – отвечает Тронк, продолжающий стоять навтыжку. – Действительно у него прозвище Чернявый. Сами знаете, господин майор, солдаты между собой по-приятельски...

Он как бы старается выгородить Мартелли: дескать, в том, что парня прозвали Чернявым, его вины нет, и наказывать тут не за что.

Но майор не собирается наказывать солдата: такая мысль ему и в голову не приходит.

– Ага, Чернявый! – кивает он, не скрывая удовлетворения.

Старший сержант хмуро смотрит на майора, ему все ясно. Как же, как же, думает он, дай ему еще приз, сволочь, за то, что он красиво убил человека. Какой точный прицел, не правда ли?

Да, конечно, прицел был очень точным. Именно об этом думает сейчас Матти (а ведь когда Чернявый стрелял, было уже темно. Снайперы у него что надо).

Тронк люто ненавидит его в эту минуту. Как же, как же, можешь радоваться открыто, думает он. На то, что Лаццари убит, тебе наплевать. Похвали своего Чернявого, вынеси ему благодарность!

И действительно, майор совершенно спокойным голосом громко выражает свое удовлетворение:

– Что ж, Чернявый стреляет метко! – А про себя думает: этот хитрец Лаццари надеялся, что Чернявый промахнется, надеялся, что ему все сойдет с рук! Теперь он узнал, с кем имел дело. А Тронк?... Может, он тоже рассчитывал, что Чернявый промахнется, и тогда все кончилось бы несколькими днями гауптвахты. – О да, да! – снова восклицает майор, совершенно позабыв о том, что перед ним покойник. – Чернявый – стрелок отменный!

Наконец он умолкает, и старший сержант может опять заняться трупом. Теперь Лаццари лежит на носилках, как полагается: лицо его прикрыто походным одеялом, видны только руки – две большие крестьянские руки, которые кажутся еще живыми и налитыми кровью.

По знаку Тронка солдаты поднимают носилки.

– Прикажете идти, господин майор?

– А кого еще ты собираешься здесь ждать? – резко отвечает Матти, который только теперь с искренним удивлением почувствовал ненависть Тронка и считает нужным ответить ему так же резко, подчеркнув вдобавок пренебрежение старшего по званию к подчиненному.

– Вперед! – командует Тронк.

Следовало бы сказать «шагом марш», но это кажется ему сейчас неуместным. Только теперь он взглянул на Крепость, увидел на стене силуэт часового, смутно вырисовывающийся в свете фонарей. За этими стенами, в одной из казарм есть койка Лаццари и его сундучок, а в нем – привезенное из дома изображение мадонны, несколько холостых патронов, огниво, цветные носовые платки, четыре серебряные пуговицы для парадного мундира: они достались ему еще от деда и в Крепости никогда бы не пригодились.

На подушке, возможно, за эти два дня не разгладилась еще ямка от его головы, а в вещах найдется, наверно, и пузырек с чернилами, продолжает перечислять про себя педантичный даже в мыслях Тронк, ну да, пузырек с чернилами и ручка. Все это завернут в пакет и отправят его родным вместе с письмом от господина полковника. Остальное – то есть казенное имущество, в том числе и сменное белье, – передадут другому солдату. А вот красивая парадная форма и винтовка не достанутся никому: винтовку и форму похоронят вместе с хозяином – таков закон Крепости.

XIV

А когда наступил рассвет, с Нового редута увидели на северной равнине крошечную черную полосу. Черточку, которая двигалась и никак не могла быть галлюцинацией. Первым заметил ее часовой Андронико, потом – часовой Пьетри, затем – сержант Батта, который сначала смеялся над ними, и, наконец, дежурный офицер – лейтенант Мадерна.

Небольшая черная полоска – что-то совершенно непонятное – двигалась утром с севера через пустыню, хотя недобрые предчувствия заявили о себе в Крепости еще с ночи. Примерно в шесть утра часовой Андронико поднял тревогу. Да, с севера что-то двигалось: такого еще ни у кого на памяти не было. Когда рассвело совсем, на белом фоне пустыни стала отчетливо видна колонна людей, направлявшихся в сторону Крепости.

Через несколько минут, как и каждое утро с незапамятных времен (когда-то это объяснялось надеждой, потом – любовью к порядку, а теперь – всего лишь привычкой), полковой портной Просдочимо поднялся на крышу Крепости, чтобы взглянуть окрест. Это стало традицией, и сторожевые посты пропускали его без разговоров. Он наведывался на стену, на смотровую площадку, болтал о том о сем с дежурным сержантом, а потом снова спускался в свое подземелье.

В этот раз, окинув взглядом просматривавшийся со стены треугольник пустыни, Просдочимо решил, что он уже на том свете. Мысль, что он видит сон, ему и в голову не пришла: сновидения обычно бывают абсурдными и путанными, спящий человек подсознательно чувствует нереальность происходящего, понимая, что в один прекрасный момент наступит пробуждение. Во сне картины никогда не бывают такими четкими и материальными, как эта унылая равнина, по которой двигались строем неизвестные люди.

До чего же все было странно, до чего похоже на мечтания его молодости! Просдочимо просто не мог поверить в реальность происходящего и решил, что он умер.

Да, умер, и Господь Бог простил его. Портной подумал, что он уже на том свете, который с виду ничем не отличается от нашего, только там все хорошее сбывается в соответствии с твоими законными желаниями, а когда ты удовлетворен, душа успокаивается; одним словом, все совсем не так, как на этом свете, где что-нибудь да отравит даже самые лучшие дни.

Итак, Просдочимо решил, что он умер, и стоял как вкопанный: двигаться теперь ни к чему, ведь он – покойник, и заставить его пошевелиться может лишь какая-нибудь нездешняя сила. Но тут раздался голос старшего сержанта, вежливо тронувшего его за рукав:

– Что с вами? Вам плохо?

Только тогда Просдочимо очнулся.

Все было почти так же, как в мечтах, только еще лучше: со стороны северного королевства двигалась таинственная рать. Время летело очень быстро, никто не мог оторвать глаз от необычного зрелища, солнце сверкало почти у самого багрового горизонта, а чужеземцы подходили все ближе, хотя двигались не спеша. Кто-то заявил, что видит там и пеших, и конных, что идут они цепочкой и еще знамя несут. Сказал это один, а остальные тут же внушили себе, что видят то же самое – цепочку пехотинцев и кавалеристов и даже полотнище знамени, хотя на самом деле разглядеть можно было лишь медленно двигавшийся черный штрих.

– Это татары, – рискнул состричь часовой Андронико, но лицо его покрылось смертельной бледностью.

Спустя полчаса лейтенант Мадерна на Новом редуте приказал выпустить холостой заряд из пушки: то было своего рода предупреждение, предусмотренное уставом в случае приближения вооруженных сил чужеземцев.

Много лет в этих краях никто не слышал пушечных выстрелов. Стены форта слегка дрогнули. Звук выстрела разросся в замедленный гром, похожий на зловещий гул горной лавины. Лейтенант Мадерна смотрел в сторону Крепости, надеясь увидеть хоть какие-нибудь признаки тревоги. Но выстрел никого не удивил, ибо чужеземцы двигались именно по тому треугольному участку равнины, который просматривался с центрального форта, и там уже всё знали. Весть докатилась до самой отдаленной галереи, до того места, где крайний левый бастион примыкал к скальной стене, и даже до солдата, стоявшего на часах у подземного склада фонарей и шанцевого инструмента; да, даже до часового, который не мог ничего видеть, так как находился в темном подвале, докатилась эта весть. Как же ему хотелось, чтобы время прошло скорее, чтоб дежурство кончилось и можно было тоже подняться на стену, глянуть вниз.

Все было как прежде: часовые оставались на своих постах, мерили шагами свои участки стены, писцы переписывали донесения, поскрипывая перьями и неспешно макая их в чернильницы, – но с севера двигались неизвестные люди, которых вполне можно было принять за противника. В конюшнях солдаты чистили скребницами лошадей, из кухонной трубы лениво поднимался дым, трое солдат подметали двор, но над всем уже господствовало острое и непривычное чувство – чувство всеобщего нетерпеливого ожидания, словно час пробил, великий момент настал и возврата быть уже не может.

Офицеры и солдаты глубоко втягивали воздух, впитывая поднимающуюся от земли утреннюю свежесть, чтобы лучше чувствовать, как бурлит их молодая кровь. Артиллеристы начали готовить пушки и с шутками суетились вокруг них, словно обихаживали норовистых коней. Во взглядах сквозила тревога, ведь прошло

столько лет, и, кто знает, может, пушки уже не смогут стрелять, может, раньше их не очень старательно чистили и теперь нужно срочно принимать меры, ибо час близок и скоро все решится. И никогда еще вестовые не носились так стремительно по лестницам, никогда еще мундиры не были в таком порядке, штыки так надраены, звуки трубы – такими воинственными. Выходит, ждали не зря, выходит, все эти годы не потрачены впустую и старая Крепость еще может сослужить свою службу.

Теперь все боялись пропустить особый сигнал, сигнал настоящей боевой тревоги, которого никому из солдат еще не посчастливилось слышать. Во время занятий, проводившихся за стенами Крепости в укромной низинке, чтобы звуки не долетали до форта и не вызвали невзначай переполоха, трубачи тихими летними вечерами пытались иногда воспроизвести этот знаменитый сигнал – просто так, от чрезмерного усердия (никто ведь не думал, что к нему придется прибегнуть на деле). А теперь они жалели, что мало тренировались: это было довольно длинное арпеджио, завершавшееся на очень высокой ноте, так что без должной тренировки легко было сфальшивить.

Только комендант Крепости мог отдать приказ трубить этот сигнал, и все мысли были обращены к полковнику: солдаты ждали, когда он поднимется на стены и пройдет их из конца в конец; они уже представляли себе, как он приближается, горделиво улыбаясь и внимательно заглядывая в глаза каждому. Для него, должно быть, тоже наступил особенный день, разве не ушла на ожидание этого момента вся его жизнь?

Но полковник Филиморе стоял в своем кабинете и смотрел из окна на север, на маленький треугольник пустынной равнины, не заслоненный горами, видел цепочку черных точек, двигавшихся, словно муравьи, прямо на него, прямо на Крепость; действительно было похоже, что это солдаты.

Поминутно в кабинет входил кто-нибудь из офицеров – то подполковник Николози, то капитан-поверяющий, то дежурный по караулу. Входили, нетерпеливо ожидая его приказов... под разными предлогами, чтобы сообщить какие-нибудь маловажные новости: из города прибыла фура с продовольствием; с утра начат ремонт печи; истекает срок увольнительных для нескольких солдат; на террасе центрального форта установлена подзорная труба – вдруг господин полковник захочет ею воспользоваться.

Они сообщали об этом, поднося руку к козырьку и щелкая каблуками, и не понимали, почему полковник все стоит и молчит и не отдает приказов, которых все так ждут. Он еще не распорядился об усилении охраны, о выдаче каждому удвоенного боезапаса, об объявлении тревоги.

С какой-то непонятной апатией полковник хладнокровно наблюдал за приближением чужеземцев, не обнаруживая ни печали, ни радости, будто все это его вообще не касалось.

А ведь стоял прекрасный октябрьский денек, солнце сияло, воздух был чист и прозрачен – самые подходящие условия для сражения. Ветер развеивал флаг над крышей форта, желтая земля во дворе блестела, и тени солдат четко вырисовывались на ней. Прекрасное утро, господин полковник.

Комендант же ясно давал понять, что хочет побыть один, и, когда все уходило из кабинета, мерил его шагами – от окна к столу, от стола к окну, ни на что не решаясь, машинально поглаживая свои седые усы и протяжно, совсем по-старчески вздыхая.

Вот уже черная цепочка исчезла с маленького треугольника равнины: значит, чужеземцы где-то совсем близко от границы и часа через три-четыре подойдут к самому подножию гор.

Но господин полковник без всякой надобности протирал платком стекла своих очков, перелистывал донесения и бумаги, накопившиеся на письменном столе: ждавший его подписи приказ по Крепости, чей-то рапорт с просьбой об увольнении, ежедневная сводка, составленная гарнизонным врачом, стопка накладных из шорной мастерской.

Чего вы ждете, господин полковник? Солнце уже высоко, даже только что вошедший майор Матти не скрывает некоторой озабоченности; даже он, никогда и ничему не верящий. Да покажись ты хотя бы часовым, пройдишь по стенам. Чужаков, как утверждает капитан Форце, побывавший на Новом редуте, уже можно различить каждого в отдельности: они вооружены, у всех за плечом винтовка, времени больше терять нельзя.

А полковник Филиморе чего-то ждет. Он, конечно, допускает, что эти неизвестные и впрямь солдаты. Пусть так. Но сколько их? Один говорит двести, другой – двести пятьдесят, а кто-то даже заметил, что если это только авангард противника, то основные силы должны исчисляться не менее чем двумя тысячами штыков. Но этих основных сил пока что-то не видать, не исключено, что их вообще нет.

Основных сил противника, господин полковник, не видно только из-за северного тумана. Сегодня утром он заметно приблизился, северный ветер погнал его вниз, и он накрыл значительную часть равнины. Какой был смысл посылать эти две сотни человек, если за ними вслед не выступает настоящее большое войско? Можно с уверенностью сказать, что оно покажется еще до полудня. Один часовой, например, утверждает, что он сам совсем недавно видел, как у границы туманной полосы что-то двигалось.

Но комендант все шагает от стола к окну и обратно, лениво перебирает бумаги. Зачем чужеземцам нападать на Крепость, думает он. Может, это обыкновенные маневры в условиях пустыни? Времена татарских орд прошли – давно стали легендой. Кому вообще нужно нарушать границу? Да, есть в этой истории что-то сомнительное.

Пускай это никакие не татары, господин полковник, но солдаты – безусловно. Ни для кого не тайна, что уже много лет отношения с северным королевством серьезно испорчены, и поговаривают даже о войне. Да, это безусловно солдаты. И конные, и пешие. Скоро, должно быть, покажется артиллерия. Есть все основания полагать, что нападут они еще до наступления вечера, а стены Крепости старые, винтовки старые, пушки старые, все, абсолютно все здесь устарело, лишь солдатские сердца молоды. В общем, надеяться тебе, полковник, собственно, не на что.

Надеяться! О, как бы ему хотелось перестать надеяться, ведь именно на эти надежды он положил свою жизнь – сколько там ее осталось? – и если уж сейчас не тот самый подходящий случай, то другой уже вряд ли представится. Не страх заставляет его медлить, не мысль о том, что он может погибнуть. Такое ему и в голову не приходит.

Очевидно, под конец жизни ему вдруг улыбнулась Фортуна, представ перед ним в своих серебряных латах и с обагренным кровью мечом. Полковник Филиморе, почти уже и не помышлявший о ней, вдруг увидел ее лик, и было в этом лике, как ни странно, нечто дружественное. А он, если говорить начистоту, не решался

сдвинуться с места и ответить улыбкой на улыбку: слишком уж часто он обманывался, с него довольно. Остальные офицеры Крепости сразу радостно бросились Фортуне навстречу. В отличие от своего командира они смотрели на нее доверчиво, предощущая – словно им это не впервой – сильный и терпкий запах битвы. А полковник все выжидал. До тех пор, пока прекрасное видение не тронет его своей десницей, он, считайте это суеверием, не двинется с места. Ведь достаточно пустяка – протяни руку, выдай свое заветное желание, и дивный образ исчезнет без следа.

Вот почему он лишь отрицательно покачивал головой в знак того, что Фортуна, должно быть, ошиблась. И, не веря, оглядывался по сторонам, назад, словно ища тех, других, подлинных ее избранников. Но никого там не было, значит, это не ошибка, значит, так и есть: именно ему выпала столь завидная участь.

Был момент перед рассветом, когда на белесой поверхности пустыни он увидел загадочную черную змейку и сердце его зашло от радости. Потом образ Фортуны в серебряных доспехах и с обагренным кровью мечом стал понемногу тускнеть, и, хотя она направлялась к нему, ей почему-то никак не удавалось приблизиться вплотную, преодолеть с виду небольшое, а в действительности бесконечное расстояние.

Дело в том, что Филиморе слишком долго ее ждал, а когда дело идет к старости, нет больше той веры, какая бывает в двадцать. Да, слишком много лет он ждал ее напрасно, слишком много прочитано им приказов по гарнизону, слишком часто по утрам он всматривался в эту проклятую, вечно безлюдную равнину.

А теперь, когда чужеземцы явились, он явственно ощущает, что тут какая-то ошибка (но как же заманчиво во все это поверить), и она может оказаться роковой.

Между тем маятник стенных часов, висевших напротив письменного стола, продолжал перемалывать жизнь, и худые пальцы полковника, совсем иссохшие с годами, упорно протирали платком стекла очков, хотя в этом не было абсолютно никакой необходимости.

Стрелки часов приближались к половине одиннадцатого, когда в кабинет вошел майор Матти – напомнить полковнику, что пора принимать рапорты офицеров. У Филиморе это совсем выскочило из головы, и он был раздосадован: теперь придется что-то сказать людям о появившихся на равнине чужеземцах, откладывать больше невозможно, надо либо официально назвать их противником, либо обратить все в шутку, либо избрать «золотую середину» – распорядиться о мерах безопасности и в то же время показать, что сам он смотрит на это скептически и не собирается поднимать панику из-за пустяков. Какое-то решение, однако, принять следовало, и это его тяготило. Он предпочел бы выждать, совершенно ничего не предпринимая и тем самым как бы бросая вызов судьбе: пусть наконец сама сделает первый шаг.

Майор Матти с вечной своей двусмысленной улыбочкой произнес:

– Похоже, на этот раз мы дождались!

Полковник Филиморе ничего не ответил. Тогда майор добавил:

– Теперь уже показались и остальные. Идут колонной по трое, даже отсюда видно.

Полковник посмотрел ему в глаза и на какое-то мгновение испытал к майору почти что нежность.

– Вы говорите, появились и другие?

– Даже отсюда видно, господин полковник. Их уже довольно много.

Оба подошли к окну и на просматриваемом треугольнике северной равнины разглядели движущиеся черные змейки. Не одну, как на рассвете, а три; колонне чужеземцев не было видно конца.

Война, война, подумал полковник, стараясь отогнать эту мысль, как какое-нибудь запретное желание. Слова Матти вновь пробудили в нем надежду, и она наполнила его душу восторгом.

В таком вот смятении чувств полковник и появился вдруг в парадном зале перед всеми выстроившимися здесь офицерами (исключение составляли лишь дежурные караульной службы). На фоне слитного пятна голубых мундиров выделялись своей бледностью отдельные лица, которые он узнавал с трудом; юные и зрелые – все говорили ему одно, лихорадочно блестящие глаза жадно требовали от него официального сообщения о надвигающейся опасности. Вытянувшись по стойке «смирно», офицеры не сводили с него взгляда, полного надежды, что ожидания их не будут обмануты.

В воцарившейся тишине было слышно их взволнованное дыхание. И полковник понял: он просто обязан им что-то сказать. Именно в эту минуту он почувствовал, как им овладевает какое-то новое, неудержимое чувство. К своему удивлению, сам не зная почему, Филиморе вдруг утвердился в мысли, что эти чужеземцы и в самом деле враги, вознамерившиеся нарушить границу. Он действительно не понимал, как такое могло с ним случиться: ведь всего минуту назад он был еще в состоянии пересилить искушение и не верить в это. Он чувствовал, как ему передается общее настроение, и был готов отбросить всякую осторожность и заговорить. «Господа офицеры, – скажет он им сейчас, – вот наконец и наступил час, которого мы ждали много лет». Это или что-то в том же роде скажет он им, а офицеры с благодарностью воспримут его слова как благословение на ратный подвиг.

Он уже собирался начать свою речь, но в тайниках его души все еще что-то противилось. «Это невозможно, полковник, – говорил ему внутренний голос, – остановись, пока не поздно, тут какая-то ошибка (слишком все заманчиво, чтобы быть правдой), будь осторожен, потому что она может оказаться роковой».

И этот враждебный голос лишь усиливал тревогу.

Наконец он сделал шаг вперед, вскинул голову, как обычно, когда начинал говорить, и офицеры увидели, что лицо у него вдруг покраснело, да, господин полковник покраснел, как ребенок, потому что ему предстояло сейчас открыть тайную мечту всей своей жизни, мечту, которую он так тщательно скрывал.

Но едва лицо его покрылось нежным детским румянцем, а с губ уже готово было сорваться первое слово, как враждебный голос вновь поднялся из глубины души, и Филиморе на мгновение замешкался. И тут он услышал чьи-то стремительные шаги на лестнице, ведущей в зал. Никто из офицеров, напряженно следивших за своим командиром, ничего не заметил, но за долгие годы службы слух Филиморе до того обострился, что он мог распознать любой, даже самый слабый голос своей Крепости.

Шаги приближались, это было несомненно, и притом с необычайной торопливостью. В них чудилось что-то чужое и зловещее, что-то начальственное; наверняка они имели непосредственное отношение к тому, что происходило на равнине. Теперь их уже слышали и другие офицеры, и звук этот, они и сами не знали почему, безжалостно ранил душу. Наконец открылась дверь, и на пороге появился запыхавшийся, весь в пыли незнакомый драгунский офицер.

Он отдал честь и отрекомендовался:

– Лейтенант Фернандес из седьмого драгунского. Доставил вам пакет от его превосходительства начальника генерального штаба.

Эффектно держа кивер на согнутой левой руке, он приблизился к полковнику и протянул ему запечатанную депешу. Филиморе пожал гонцу руку.

– Благодарю вас, лейтенант, – сказал он. – Судя по всему, вы очень спешили. Сейчас вас проводят, вам надо немного освежиться.

Ничем не выдав своего беспокойства, полковник знаком подозвал первого попавшегося ему на глаза лейтенанта – Санти – и поручил гонца его заботам. Оба офицера вышли, и дверь за ними закрылась.

– С вашего позволения... – произнес Филиморе со слабой улыбкой и помахал конвертом, давая понять, что намерен прочитать послание тотчас же.

Он осторожно отделил пальцами печати, оторвал край конверта и извлек из него исписанный с обеих сторон и сложенный вдвое лист бумаги. Пока он читал, офицеры не спускали с него глаз, надеясь что-нибудь угадать по выражению лица. Но не тут-то было. Вид у полковника был такой, словно он, сидя после ужина долгим зимним вечером у камина, просматривал газету. Вот только румянец сошел с худощавого лица.

Окончив чтение, полковник вновь сложил листок, сунул его в конверт, конверт опустил в карман и вскинул голову, требуя внимания. Все почувствовали, что чары, в плену которых они были, вдруг рассеялись.

– Господа офицеры, – сказал полковник через силу. – Сегодня утром среди солдат, если не ошибаюсь, было заметно некоторое волнение, да и среди вас, если не ошибаюсь, тоже – в связи с появлением людей в так называемой Татарской пустыне.

Его слова с трудом преодолевали стену молчания. Было слышно, как по залу носится муха.

– Речь идет... – продолжал полковник, – речь идет о воинских подразделениях северного государства, которым поручено разметить пограничную линию, как это сделали и мы много лет назад. Поэтому они не подойдут к Крепости, а, скорее всего, разбившись на небольшие отряды, поднимутся в горы. О чем и сообщает мне в письме его превосходительство начальник генерального штаба.

Говоря это, Филиморе испускал продолжительные вздохи, свидетельствовавшие не о нетерпении или страдании, а просто о старости; казалось, даже голос у него вдруг постарел, таким он стал глухим и надтреснутым, а глаза подернулись мутной желтоватой пленкой.

Да, полковник Филиморе с самого начала чувствовал, что так и будет. Что это не враг – ему было совершенно ясно: конечно же, он не создан для славы, в чем имел возможность убедиться всякий раз, когда поддавался глупым иллюзиям. Ну почему, яростно спрашивал он себя, почему ты опять позволил себя обмануть? Ведь с самого начала чувствовал, что все кончится именно так!

– Вам известно, – продолжал он нарочито безразличным тоном, стараясь не выдать всей накопившейся в душе горечи, – что пограничные столбы и другие демаркационные знаки были установлены нами много лет назад. Но, как сообщает его превосходительство, остался один неразмеченный участок. Для завершения этой работы на место отправится подразделение под командованием капитана и одного из младших офицеров. Участок находится в горах, там, где тянутся две или три параллельные гряды. Нет нужды добавлять, как было бы хорошо, если бы мы

смогли продвинуться поглубже и оставить северный склон за собой. Дело не в том, что он так уж важен в стратегическом отношении, надеюсь, вы понимаете, что там, наверху, никакие военные действия невозможны, да и для маневров место неподходящее... – Полковник немного помолчал, о чем-то задумавшись, потом добавил: – Да, для маневров... так на чем я остановился?

– Вы сказали, что нужно продвинуться как можно глубже, – подсказал майор Матти с подозрительной поспешностью.

– Ах да, я сказал, что нам следовало бы продвинуться как можно глубже. К сожалению, дело это нелегкое: северяне нас опередили. И все же... Ну да ладно, об этом потом, – сказал он, глядя на подполковника Николози.

Полковник умолк, словно речь эта его утомила. От его внимания не укрылось, что, пока он говорил, на лица офицеров легла тень разочарования, прямо на глазах они из рвущихся в бой героев превратились в ничем не примечательных гарнизонных служивых. Ну ничего, думал полковник, они молоды, у них еще все впереди.

– Так, – продолжал полковник, – а теперь я, к огорчению своему, должен многим из вас сделать замечание. Мне неоднократно доводилось видеть, как во время смены караула некоторые взводы являются на построение без командира. Вероятно, эти офицеры полагают, что им позволено опаздывать...

Муха летала по залу, флаг на крыше форта повис, как тряпка, полковник говорил о дисциплине и уставе, по северной равнине двигались вооруженные люди, но это был не жаждущий боя враг, а такие же безобидные солдаты, как они сами, и шли они не на смертельную схватку, а для осуществления банальной кадастровой операции; их винтовки были не заряжены, палаши не наточены. С севера на юг по пустыне двигалось вполне безопасное подобие войска, а в Крепости снова воцарилась повседневная рутина.

XV

Отряд, получивший задание разметить границу на участке, остававшемся открытым, вышел из Крепости на рассвете следующего дня. Командовал им здоровенный капитан Монти, в помощь которому были приданы лейтенант Ангустина и один из старших сержантов.

Каждому сообщили пароль на этот и на четыре следующих дня. Вряд ли, конечно, они могли погибнуть все разом, но на всякий случай одному из старослужащих было дано указание расстегнуть мундир погибшего или потерявшего сознание командира, сунуть руку во внутренний карман и вынуть запечатанный сургучом пакет, в котором находился листок с паролем, служившим пропуском в Крепость.

Вооруженный отряд из четырех десятков человек вышел из Крепости на северную сторону, когда из-за горизонта только-только показалось солнце. У капитана Монти были тяжелые, подбитые шипами ботинки такие же, как и у солдат. Один только Ангустина шел в сапогах, и капитан перед выходом из Крепости посмотрел на них с преувеличенным интересом, ничего, однако, не сказав.

Пройдя вниз по галечнику метров сто, свернули направо и, больше уже не спускаясь, двинулись к горловине узкого скалистого ущелья, уходившего в глубь гор.

Примерно через полчаса капитан заметил:

– В этих вот... – он указал на сапоги Ангустины, – вам туго придется.

Ангустина промолчал.

– Мне бы не хотелось задерживаться, – спустя некоторое время вновь заговорил капитан. – А в них вы намучаетесь, вот увидите.

На что Ангустина возразил:

– Теперь уже поздно, господин капитан, если уж на то пошло, вы могли бы сказать мне об этом раньше.

– Говори не говори, – возразил Монти, – вы все равно бы их надели, я же вас знаю.

Монти терпеть не мог лейтенанта. Скажите, какой гордый! Ну ничего, скоро ты у меняхватишь лиха, думал он и подгонял отряд даже на самых трудных участках, хотя ему было известно, что Ангустина не отличается крепким здоровьем. Между тем они уже добрались до основания отвесных склонов. Щебень здесь был мельче, ноги вязли в нем, и вытаскивать их становилось все труднее. Капитан сказал:

– Обычно из этого ущелья дует адский ветер... Но сегодня, слава Богу, здесь тихо.

Лейтенант Ангустина ничего не ответил.

– Хорошо еще, что солнца нет, – снова подал голос Монти. – Да, сегодня нам, можно сказать, повезло.

– А вы разве уже бывали в этих местах? – спросил Ангустина.

– Один раз, когда мы ловили дезер...

Он не окончил фразу, так как с верхушки нависавшей над ними серой стены донесся шум обвала. Камни, с силой ударяясь о скалы, рикошетируя и поднимая облачка пыли, с бешеной скоростью неслись вниз, в пропасть. Громopodobный гул катился от стены к стене. Неожиданный обвал продолжался несколько минут, но вскоре, так и не достигнув дна глубоких каньонов, камнепад прекратился; до галечника, где они остановились, докатилось лишь два-три камешка.

Все примолкли: в грохоте обвала ощущалось присутствие какой-то враждебной силы. Монти бросил на Ангустину взгляд, в котором сквозил вызов. Он рассчитывал, что лейтенант испугается, но ошибся. Зато было заметно, что даже после такого короткого перехода Ангустина весь взмок; его элегантная форма измялась.

Скажите, гордый какой, опять подумал Монти. Что ж, посмотрим, что ты запоешь потом. Он сразу повел группу дальше, заставляя солдат двигаться все быстрее и время от времени поглядывая назад, на Ангустину. Да, как он предполагал и надеялся, сапоги начали натирать лейтенанту ноги. Не то чтобы Ангустина сбавил темп или на лице его были написаны муки. Нет, это было заметно по тому, как он ступал, и по выражению суровой решимости на его лице.

– Кажется, я мог бы идти без передышки хоть шесть часов. Если бы не солдаты... Очень уж сегодня нам везет, – с видимым злорадством продолжал гнуть свое капитан. – Как вы там, Ангустина?

– Простите, капитан, – откликнулся тот, – вы что-то сказали?

– Ничего, – ответил Монти с недоброй улыбкой. – Я спросил, как у вас дела.

– А, да, спасибо, – уклончиво ответил Ангустина и после паузы, стараясь скрыть, что на крутизне дыхание у него срывается, добавил: – Жаль только...

– Что?... – спросил Монти, надеясь услышать от лейтенанта жалобу на усталость.

– Жаль, что нельзя приходить сюда почаще, места здесь очень красивые, – сказал тот и по обыкновению отстраненно улыбнулся.

Монти еще ускорил шаг. Но Ангустина не отставал; лицо его побледнело от усталости, из-под фуражки по лицу стекали струйки пота, да и на спине ткань мундира потемнела, но он не жаловался, и дистанция между ним и капитаном не увеличивалась.

Отряд уже продвигался среди скал. Со всех сторон вздымались страшные серые стены, казалось, ущелье тянется куда-то на невероятную высоту.

Последние признаки знакомого пейзажа исчезли, уступив место безжизненному унынию гор. Очарованный этим зрелищем, Ангустина то и дело устремлял взгляд вверх, на гребни, нависавшие над ними.

– Привал сделаем попозже, – сказал Монти, не спуская с него глаз. – Пока я не вижу подходящего места. Признайтесь откровенно, вы ведь устали, правда? Некоторым здесь бывает не по себе. Конечно, нам непредвиденные задержки ни к чему, но лучше сказать сразу.

– Пошли, пошли, – ответил Ангустина таким тоном, словно старшим здесь был он.

– Я почему говорю? Потому что каждому может быть не по себе. Только поэтому...

Ангустина был бледен, из-под фуражки стекали ручейки пота, мундир был – хоть выжимай. Но лейтенант стиснул зубы и крепился: скорее бы он умер, чем спасовал. Незаметно для капитана он действительно поглядывал вверх, стараясь угадать, когда наступит конец мучительному подъему.

Солнце стояло уже высоко и освещало самые дальние пики, но свет этот не был чистым и ярким, как обычно в тихие осенние утра. По небу медленно и равномерно расползлась какая-то странная, зловещая дымка.

Да еще и сапоги стали причинять адскую боль, особенно в подъеме; судя по мучительному жжению, кожа, наверно, была уже стерта в кровь.

Внезапно осыпь кончилась, и ущелье уперлось в небольшую, поросшую чахлой травкой поляну у края цирка, образованного отвесными скалами. Со всех сторон его обступали высоченные стены, испещренные сложными узорами выступов и трещин.

Капитан Монти неохотно, правда, но все же распорядился сделать привал, чтобы перекусить. Ангустина чинно сел на большой камень, хотя весь дрожал от ветра, леденившего его потное тело. Они поделили с капитаном ломоть хлеба, немного ветчины и сыра, бутылку вина.

Ангустине было холодно, он поглядывал на капитана и солдат в надежде, что кто-нибудь из них развернет скатанную шинель, и тогда он сможет последовать его примеру. Но солдаты, казалось, совершенно не чувствовали холода и перекидывались шутками; капитан ел жадно, с удовольствием, время от времени бросая взгляд на вздыбившуюся над ними крутую гору.

– Теперь, – объявил он, – я знаю, где нам лучше подниматься, – и показал на отвесную стенку, за которой сразу начинался спорный участок. – Надо двигаться прямо туда. Придется поднажать, а, лейтенант?

Ангустина взглянул на стенку. Чтобы добраться до пограничного гребня, действительно надо было вскарабкаться по стенке или же попытаться обойти гору через какой-нибудь перевал. Но на это потребовалось бы гораздо больше времени, а им следовало торопиться: северяне были в более выгодных условиях, так как

шли с опережением, и к тому же с их стороны путь был значительно легче. Да, не иначе, стенку придется брать в лоб.

– Туда? – спросил Ангустина, разглядывая обрывистые склоны, и заметил, что сотней метров левее подниматься будет гораздо легче.

– Туда, прямиком, – подтвердил капитан. – А вы как считаете?

– Главное – прийти первыми, – сказал Ангустина. Капитан глянул на него с неприязнью.

– Хорошо, – сказал он. – А теперь перекинемся в картишки.

Он вытащил из кармана колоду, разостлал на плоском камне свою шинель и, приглашая Ангустину, сказал:

– А, эти тучи. Вы вот все на них поглядываете, но не беспокойтесь, они погоду не испортят... – И рассмеялся, будто изрек что-то необычайно остроумное.

Стали играть. Ангустина чувствовал, что просто коченеет на ветру. Капитан устроился между двумя большими камнями, служившими ему укрытием, Ангустине же ветер бил прямо в спину. Теперь уж точно заболел, думал он.

– Ну что же вы, дать такого маху! – даже не закричал, а завопил вдруг Монти. – Черт побери, за здорово живешь подставить мне туза! Да где же ваша голова, дорогой лейтенант? Вы все смотрите по верхам, а в карты и не заглядываете.

– Нет-нет, – ответил Ангустина, – я просто ошибся! – И выдавил из себя смешок.

– А признайтесь, – сказал Монти с победоносным видом, – признайтесь, эти штуки здорово вас донимают. Клянусь, я так и знал.

– Какие штуки?

– Да ваши распрекрасные сапоги. Они не для таких переходов, дорогой лейтенант. Скажите правду – вам ведь больно?

– Да, они причиняют мне неудобство, – пренебрежительно отозвался Ангустина, показывая, что ему неприятен этот разговор. – Они действительно доставляют мне некоторое беспокойство.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся довольный капитан. – Я же говорил! В таких сапогах по осыпи не находишься!

– Король пик, – холодно прервал его Ангустина. – Прошу вас.

– Ах да, один момент, – весело откликнулся капитан. – А сапоги-то, сапоги!

Сапоги Ангустины и впрямь были неподходящей обувью для лазанья по отвесным скалам. Подметки все время скользили, тогда как шипы на тяжелых ботинках капитана Монти и солдат прочно цеплялись за выступы. Но Ангустина все равно не отставал: с удвоенным упорством, несмотря на усталость и застывающий на ледяном ветру пот, он ухитрялся идти в затылок капитану, забираясь все выше и выше.

Гора оказалась не такой труднодоступной, как выглядела снизу, к тому же на склоне было полно нор, трещин, небольших осыпей и отдельных шероховатых валунов, за которые удобно было цепляться. Неуклюжий капитан карабкался и прыгал с трудом, то и дело поглядывая вниз в надежде, что Ангустина совсем уже выдохся. Но тот держался: с поразительной ловкостью находил он удобную и прочную опору и сам удивлялся, откуда у него берутся силы карабкаться вверх так быстро.

По мере того как пропасть под ними становилась глубже, гребень горы тоже как будто отдалялся: на подступах к нему выросла совершенно отвесная желтая

стена. А вечер надвигался все стремительнее, хотя плотный слой серых туч над головой не позволял определить, как скоро зайдет солнце. Вдобавок начало холодать. Из долины вырвался сердитый ветер, и слышно было, как он воет в трещинах.

– Господин капитан! – закричал вдруг снизу сержант, замыкавший цепочку.

Монти остановился. За ним – Ангустина, а потом и все солдаты, до последнего.

– Ну что еще? – спросил капитан, словно его оторвали от Бог знает каких важных дел.

– А северяне-то уже на гребне! – крикнул сержант.

– Ты что, спятил? Где ты их видишь? – отозвался Монти.

– Слева, вон на той седловине, чуть левее уступа, что торчит будто нос!

Он был прав. Три крошечные черные фигурки четко вырисовывались на фоне серого неба, и было хорошо видно, как они движутся. Не приходилось сомневаться в том, что они уже заняли нижний участок гребня и, судя по всему, до вершины доберутся первыми.

– Черт побери! – крикнул капитан, сердито поглядев вниз, на цепочку, как будто в этой неудаче были повинны солдаты. Потом обернулся к Ангустине: – Вершину взять должны мы, никакого разговора быть не может. Не то – лучше не показываться на глаза полковнику!

– Надо их как-то задержать, – сказал Ангустина. – Оттуда до вершины не больше часу пути. Если они не остановятся, мы их не обгоним.

– Может, лучше мне пойти вперед с четверкой солдат, – ответил капитан. – Небольшая группа справится быстрее. А вы поднимайтесь спокойно следом или ждите здесь, если устали.

Вот на что рассчитывает эта сволочь, подумал Ангустина, сам хочет отличиться, а меня оставить здесь. А вслух сказал:

– Слушаюсь, господин капитан. Как прикажете. Но я все же предпочитаю идти дальше. И вообще, если сидеть без движения, можно замерзнуть.

Капитан выбрал четверых самых ловких солдат, образовав своего рода штурмовую группу, и двинулся вперед. Ангустина же принял на себя командование остальными, надеясь, что ему удастся не отстать от Монти. Но тщетно: цепочка, несмотря на то что все прибавили шагу, растянулась настолько, что даже конца ее не было видно.

На глазах у Ангустины маленький отряд капитана скрылся за серыми выступами скалы. Какое-то время еще был слышен шум сыпавшейся из-под ног щебенки, а потом и он смолк, так же, как голоса, растворившиеся вдали.

Небо между тем совсем потемнело. Окружающие их скалы, потускневшие стенки на противоположной стороне ущелья, дно пропасти – все приобрело какой-то зловещий лиловатый оттенок. Небольшие вороны с резким карканьем летали вдоль ребристых выступов: казалось, они предупреждают друг друга о надвигающейся опасности.

– Господин лейтенант, – обратился к Ангустине солдат, шедший за ним, – сейчас дождь польет.

Ангустина остановился, посмотрел на него, но ничего не сказал. Сапоги больше не терзали ему ноги, зато начала сказываться безмерная усталость. Каждый метр подъема давался лейтенанту с огромным трудом. К счастью, скалы на этом участке были не такими крутыми и более изрезанными, чем те, что они

уже преодолели. Интересно, как далеко ушел капитан, подумал Ангустина. Может, он уже побывал на вершине, воткнул там флажок, поставил пограничный знак и теперь возвращается назад.

Посмотрев наверх, он убедился, что вершина не так уж и далеко. Вот только неясно было, с какой стороны к ней подступиться – очень уж отвесной и гладкой была подпиравшая ее стенка.

Наконец, выйдя на узкий, усыпанный щебнем карниз, Ангустина оказался в нескольких метрах от капитана Монти. Тот, взобравшись на плечи одного из солдат, пытался одолеть стенку высотой не более десяти метров, но выглядевшую совершенно неприступной. Было очевидно, что Монти уже давно и безуспешно пытается взять это препятствие.

Едва переводя дух от усталости, капитан встретил Ангустину злобным взглядом.

– Могли бы подождать и внизу, лейтенант, – сказал он, – всем нам здесь не пройти, хорошо если сумею подняться туда я да еще двое солдат. Вам бы лучше было ждать нас внизу, скоро стемнеет, а спуск в темноте – дело нешуточное.

– Но вы сами сказали, – ответил Ангустина совершенно хладнокровно, – чтобы я поступал по своему усмотрению: либо оставался ждать, либо следовал за вами.

– Ладно, – сказал капитан, – теперь нужно отыскать дорогу: от вершины нас отделяют всего несколько метров.

– Как? Вон там уже и вершина? – спросил лейтенант с едва уловимой иронией, которой капитан, конечно же, не заметил.

– И десяти метров не будет, – кипятился капитан. – Черт побери, мне ли их не одолеть! Да я...

Его прервал чей-то дерзкий голос сверху; над краем невысокой стенки показались две головы.

– Добрый вечер! – крикнул, улыбаясь, один из незнакомцев, по-видимому офицер. – Хочу предупредить: здесь вам не подняться, нужно идти по хребту!

Оба исчезли; до стоящих внизу доносилась лишь неразборчивая речь чужаков.

Монти позеленел от злости. Значит, все кончено: северяне захватили и вершину. Капитан, не обращая внимания на продолжавших подходить снизу солдат, опустил на обломок скалы, лежавший на карнизе.

Вдруг повалил снег – густой и тяжелый, совсем как зимой. И кто бы мог подумать – за несколько минут щебенка, покрывавшая карниз, стала совсем белой, тогда как все остальное погрузилось в темноту. Никто и представить себе не мог, что ночь наступит так внезапно.

Солдаты как ни в чем не бывало развернули свои скатки и укрылись шинелями.

– Вы что делаете, черт вас побери! – взорвался капитан. – Немедленно свернуть шинели! Уж не собираетесь ли вы проторчать здесь всю ночь? Будем немедленно спускаться.

– С вашего позволения, господин капитан, – возразил Ангустина, – до тех пор, пока те находятся на вершине...

– Что-что? Что вы хотите этим сказать? – вскинулся капитан.

– По-моему, нельзя возвращаться назад, пока северяне там, на вершине. Да, они добрались туда первыми, и нам здесь делать уже нечего, но как это может быть истолковано?!

Капитан ничего не ответил и минуту-другую ходил взад-вперед по карнизу. Потом сказал:

– Теперь и они наверняка уберутся отсюда, на вершине в такую погоду еще хуже, чем здесь.

– Господа! – раздался голос сверху, и над кромкой стены показалось уже четыре или пять голов. – К чему все эти церемонии, беритесь за веревки и поднимайтесь сюда, в такую темень по крутому склону вам все равно не спуститься!

С этими словами они сбросили два толстых каната, чтобы с их помощью отряд из Крепости мог одолеть короткую стенку.

– Спасибо, – язвительным тоном ответил капитан Монти. – Спасибо за внимание, но мы уж как-нибудь сами о себе позаботимся!

– Ну, дело ваше! – крикнули сверху. – Но веревки мы тут оставим, как знать, может, они вам все-таки понадобятся.

Наступило долгое молчание. Лишь с тихим шорохом сыпал снег да время от времени кто-нибудь кашлял. Видимости не было почти никакой: едва-едва просматривался подсвеченный красноватым светом фонаря край поднимавшейся над ними стенки.

Солдаты Крепости, накинув шинели, тоже стали зажигать фонари. Поднесли фонарь и капитану.

– Господин капитан, – устало произнес Ангустина.

– Что еще?

– Господин капитан, а не перекинуться ли нам в картишки?

– К дьяволу ваши картишки! – ответил Монти, прекрасно понимавший, что этой ночью им отсюда уже не выбраться.

Не говоря ни слова, Ангустина вынул колоду из сумки капитана, доверенной одному из солдат, разостлал на камне край своей шинели, поставил рядом фонарь и стал тасовать карты.

– Давайте сыграем, господин капитан, даже если вам не хочется.

Только теперь Монти понял, что имел в виду лейтенант: ведь на них смотрят северяне и еще небось насмеются; выходит, надо играть. Солдаты устроились у самой стенки, в небольшой впадине, и с веселым смехом принялись за еду, а оба офицера, сидя на открытом месте, под снегом, стали играть в карты. Позади них возвышалась отвесная стена, под ними чернела пропасть.

– Так его, всухую, не давать ему взятку! – крикнул кто-то сверху насмешливо.

Ни Монти, ни Ангустина не подняли головы, делая вид, будто очень увлечены. Но капитан играл неохотно, со злостью шлепая картами по шинели. Тщетно Ангустина пытался подзадорить его:

– Вот это да, два туза подряд... а эта взятка моя... признайтесь, трефового-то вы проморгали...

Время от времени он даже смеялся – и выходило это у него совершенно естественно.

Сверху до них снова донеслись голоса, затем топот: должно быть, северяне уходили.

– Желаю успеха! – крикнул все тот же голос. – Удачной вам игры... и не забудьте про веревки!

Ни капитан, ни Ангустина не ответили. Они продолжали азартно шлепать картами, как будто и не слышали этих криков.

Отблески фонаря на вершине погасли. По-видимому, северяне действительно собирались уходить. Колода совсем разбухла от снега, и тасовать ее становилось все труднее.

– Ну хватит, – сказал капитан, бросая свои карты на камень. – Хватит ломать комедию!

Он устроился под скалой и поплотнее завернулся в шинель.

– Тони! – крикнул он. – Принеси мне мой ранец и найди немного воды – пить хочется.

– Они еще видят нас, – сказал Ангустина. – Видят с гребня!

Но, поняв, что Монти этим не проймешь, стал играть сам с собой, делая вид, будто партия продолжается.

С громкими восклицаниями, якобы относящимися к игре, лейтенант в левой руке держал карты, а правой «ходил», бросая их на край шинели, и брал взятки. Сквозь густую завесу снега чужеземцы не могли, конечно, разглядеть сверху, что партнера у него нет.

Ужасный холод пронизывал его. Лейтенанту казалось, что он уже не сможет ни сдвинуться с места, ни даже лечь. Никогда в жизни ему еще не было так плохо. На гребне колыхался отсвет фонаря: чужаки явно удалялись, но еще могли его видеть. *(А за стеклами чудесного особняка появилась тоненькая фигурка: он, Ангустина, совсем еще ребенок, необычайно бледный, в красивом бархатном костюмчике с белым кружевным воротником. Усталым жестом он открыл окно и наклонился к зыбким призракам, уцепившимся за подоконник, словно он с ними в дружеских отношениях и хочет им что-то сказать.)*

– Без взяток, без взяток! – попытался крикнуть Ангустина так, чтобы его услышали чужеземцы, но голос у него был хриплый и слабый.

Черт побери, это уже второй раз, господин капитан!

Закутавшись в свою накидку и медленно что-то жуя, Монти внимательно приглядывался к Ангустине и чувствовал, что злость его прошла.

– Ладно, хватит, идите в укрытие, лейтенант, северяне уже ушли!

– Вы играете куда лучше меня, господин капитан, – упорно продолжал изображать игру Ангустина, хотя голоса его уже почти не было слышно. – Но сегодня вы что-то не в форме. Почему вы все смотрите туда, на вершину? Откуда такая нервозность?...

В снежной круговерти пальцы лейтенанта Ангустины разжались, и в трепещущем свете фонаря было видно, как державшая их рука безжизненно повисла вдоль шинели и из нее выпали последние раскисшие карты.

Прислонившись спиной к камню, лейтенант медленно запрокинул голову; странная сонливость овладела им. *(А к особняку в лунной ночи приближался по воздуху маленький кортеж: новых призраков, которые несли паланкин.)*

– Лейтенант, идите сюда, перекусите немного, на таком холоде надо есть, ну, скорее, пересильте себя! – кричал капитан; в голосе его зазвучали тревожные нотки. – Идите сюда, в укрытие, снегопад уже прекращается.

И верно: почти внезапно завеса снежных хлопьев сделалась менее густой и тяжелой, воздух стал прозрачнее, в свете фонарей уже можно было разглядеть скалы на расстоянии нескольких десятков метров.

И вдруг сквозь вьюгу в невообразимой дали сверкнули огни Крепости. Казалось, их бесконечно много – как в зачарованном замке, охваченном неистовством языческого карнавала. Ангустина увидел их, и слабая улыбка тронула одеревеневшие от холода губы.

– Лейтенант! – снова позвал капитан, начиная понимать, что происходит. – Лейтенант, да бросьте вы эти карты, идите сюда, здесь можно укрыться от ветра.

Но Ангустина все смотрел на огни и, говоря по правде, уже не знал точно, что это такое: Крепость, или далекий город, или родной дом, особняк, где его уже и ждать перестали.

Возможно, какой-нибудь часовой на эскарпе форта, бросив случайный взгляд на горы, различил высоко-высоко на хребте горящие фонари. С такого расстояния проклятая стенка казалась настолько ничтожной, что и разглядеть-то ее было нельзя. Возможно также, что командовал караулом Дрого, а ведь Дрого мог бы отправиться вместе с капитаном Монти и Ангустиной, если б захотел. Но всю эту операцию он считал донельзя глупой: теперь, когда угроза нападения рассеялась, приказ коменданта показался ему бессмысленной затеей, от которой не больно много чести. Но, увидев мерцающие огоньки в горах, Дрого пожалел, что не пошел с Монти. Выходит, славу можно обрести не только на войне. И ему так захотелось быть сейчас тоже там, наверху, в ночной темноте и в буйстве снежной метели. Но уже поздно: такой случай упущен.

Отдохнувший, в сухой одежде, закутанный в теплую шинель, Джованни Дрого, глядя на далекие огоньки, испытывал даже что-то вроде зависти, а в это время Ангустина, весь покрытый смерзшейся снежной коркой, собрав последние силы, разгладил свои мокрые усы и старательно расправил складки шинели – но не для того, чтобы поплотнее закутаться в нее и согреться, нет, у него было иное тайное намерение. Капитан Монти удивленно смотрел на него из своего укрытия и никак не мог взять в толк, что делает Ангустина. Где-то он как будто уже видел очень похожую сцену, но где именно – вспомнить не удавалось.

В одном из залов Крепости висела старинная гравюра, на которой была изображена смерть князя Себастьяно. Смертельно раненный князь лежал в лесной чаще, опираясь спиной о ствол дерева и склонив голову чуть набок, а его плащ ниспадал с плеч эффектными складками; во всем этом не было ничего от жестокой, физически отталкивающей картины смерти, и никого не удивляло, как это художник сумел передать благородство и изящество своего героя даже в такой ситуации.

Да, Ангустина – бессознательно, конечно, – добивался сходства с князем Себастьяно, получившим смертельную рану в глухом лесу. Правда, у Ангустины не было таких сверкающих доспехов, как у князя, у ног его не лежали окровавленный шлем и сломанная шпага. Опирался он не о ствол дерева, а о твердый валун; не последний луч солнца падал ему на лицо, а всего лишь слабый свет фонаря; но положение рук и ног, складки шинели, выражение смертельной усталости на лице были точно такими.

По сравнению с Ангустиной и капитан, и сержант, и все остальные солдаты, куда более крепкие и brave, казались друг другу грубыми, неотесанными мужланами. А в душе Монти, как ни странно, шевельнулось даже чувство глухой зависти.

Снегопад прекратился, ветер жалобно завывал среди скалистых утесов, кружил ледяную пыль, колебал язычки пламени за стеклами фонарей. Ангустина,

казалось, ничего этого уже не сознавал и лежал неподвижно, откинувшись на камень и не сводя глаз с далеких огней Крепости.

– Лейтенант! – снова попытался взбодрить его Монти. – Лейтенант! Ну же, идите сюда, под выступ, там вам не выдержать, вы замерзнете. Идите, тут Тони соорудил что-то вроде навеса.

– Спасибо, капитан, – едва слышно прошептал Ангустина и, поскольку говорить ему было очень трудно, слегка приподнял руку, давая понять, что для него теперь это не имеет значения, что все это совершенные пустяки.

(Наконец предводитель призраков сделал повелительный жест, и Ангустина с обычным своим скучающим видом перешагнул через подоконник и грациозно опустился в паланкин. Заколдованный экипаж мягко тронулся с места.)

Несколько минут слышалось лишь хриплое завывание ветра. У солдат, сгрудившихся под скалами, где было потеплее, отпала всякая охота шутить, и они молча боролись с холодом.

Когда ветер на минутку стих, Ангустина слегка приподнял голову, медленно разжал губы, чтобы сказать что-то, но успел только вымолвить: «Надо бы завтра...» Всего три слова, и произнесены они были до того тихо, что капитан Монти их едва расслышал.

Три слова, и голова Ангустины безвольно упала на грудь. Белая застывшая рука его лежала неподвижно в складке шинели, рот был закрыт, а губы снова сложились в слабую улыбку. *(Уплывая в паланкине, он оторвал взгляд от друга и с веселым и недоверчивым любопытством стал смотреть вперед, в ту сторону, куда двигался кортеж. Вот так, с каким-то почти сверхчеловеческим благородством, он удалился в ночь. Волшебный кортеж, змеясь, медленно уходил в небо все выше и превратился сначала в растянутый шлейф, потом в крошечный сгусток тумана, потом – в ничто.)*

– Что ты хотел сказать, Ангустина? Что – завтра? – Капитан потряс лейтенанта за плечи, пытаясь привести его в чувство; но лишь смял благородные складки военной плащаницы. Какая жалость! Никто из солдат пока еще не понял, что произошло.

Упреком Монти звучал лишь голос ветра из черного провала пропасти.

Что ты хотел сказать, Ангустина? Ты ушел, не окончив фразу. Может, это была глупая, банальная мысль, может, выражение несбыточной надежды. А может, и этого не было.

XVI

Лейтенанта Ангустину похоронили, и время в Крепости потекло, как прежде. Майор Ортиц спрашивал Дрого:

– Ты сколько уже здесь?

– Четыре года.

Неожиданно пришла зима, самое томительное время в году. Теперь надо было ждать снега: сначала он ложился слоем в четыре-пять сантиметров, потом, после перерыва, слоем потолще, а потом уже сыпал и сыпал без конца. Казалось, весна никогда не наступит. (И все-таки в один прекрасный день, гораздо раньше, чем все предполагали, становилось слышно, как со смотровых площадок текут весенние ручейки, и зиме нежданно приходил конец.)

Гроб с телом лейтенанта Ангустины, обернутый в полотнище знамени, покоился в земле, за невысокой оградкой, рядом с Крепостью. Над могилой

возвышался белый каменный крест с выбитым на нем именем. Солдату Лаццари чуть в сторонке поставили крест поменьше, деревянный.

– Я иногда думаю... – сказал как-то Ортиц, – вот мы все жаждем войны, надеемся на случай, обижаемся на судьбу за то, что у нас никогда ничего не происходит. А взять хоть Ангустину...

– Выходит, – откликнулся Джованни Дрого, – выходит, Ангустина не нуждался в благосклонности судьбы и все равно сумел отличиться?

– Он был слаб и, наверно, нездоров, – сказал майор Ортиц. – Ему было хуже, чем всем нам. Он, как и мы, не схватился с врагом и войны, как и мы, не узнал. А погиб все-таки как воин. Так-то! Вам ведь известны, лейтенант, обстоятельства его смерти?

– Да, – ответил Дрого, – капитан Монти при мне рассказывал.

С наступлением зимы чужеземцы убрались восвояси. Прекрасные, развевающиеся и как бы обогранные кровью штандарты надежды постепенно поникли, и в душах вновь воцарился покой. Все вокруг опустело, и глаза тщетно искали хоть что-то в дальней дали, у самого горизонта.

– Да уж, он знал, когда умереть, – сказал майор Ортиц. – Словно пулю в сердце получил. Герой, ничего не скажешь. Однако ж никто не стрелял. Для всех, кто шел в тот день с ним, шансы были равны, никаких преимуществ он не имел, разве что умереть ему было легче, чем другим. А другие... что они, в сущности, сделали? Для других этот день был почти таким же, как и все остальные.

– Только немного похолоднее, чем обычно, – сказал Дрого.

– Да, немного похолоднее, – повторил за ним Ортиц. – Впрочем, и вы, лейтенант, могли пойти тогда с ними. Стоило только захотеть.

Они сидели на деревянной скамье на самой верхней площадке четвертого редута. Ортиц пришел навестить дежурившего там лейтенанта Дрого. С каждым днем их все больше связывали узы настоящей дружбы.

Они сидели на скамье, завернувшись в шинели, невольно поглядывая вдаль, на север, туда, где скапливались огромные, бесформенные снежные облака. Налетавший порывами северный ветер забирался под одежду. Высокие скалистые вершины справа и слева от перевала почернели.

Дрого сказал:

– Я думаю, завтра снег пойдет и у нас.

– Вполне возможно, – безучастно отозвался майор.

– Да, быть снегу, – снова сказал Дрого. – Вороны все летят и летят.

– Мы тоже виноваты, – сказал Ортиц, весь во власти одной неотступной мысли. – В конце концов каждый получает то, чего заслуживает. Ангустина, к примеру, был готов платить по самому высокому счету, а мы – нет. Наверное, в этом все дело. Может, у нас запросы слишком велики? А в общем, каждый получает то, чего заслуживает. Да уж...

– Ну и что? – спросил Дрого. – Что мы-то могли сделать?

– Лично я – ничего, – ответил Ортиц с улыбкой. – Я слишком долго ждал, а вот вы...

– Что – я?

– Уезжайте отсюда, пока не поздно, возвращайтесь в город. Привыкнете к жизни тамошнего гарнизона. Насколько я могу судить, вы не из тех, кто

пренебрегает радостями жизни. Там вас наверняка ждет блестящая карьера, это уж точно. Не всем же на роду написано быть героями.

Дрого не отвечал.

– Вы упустили целых четыре года, – продолжал Ортиц. – Они, правда, зачтутся в выслугу за восемь, но подумайте, насколько лучше вам было бы в городе. Здесь вы отрезаны от мира, о вас все забыли... возвращайтесь, пока не поздно.

Джованни слушал, уставившись в землю, и молчал.

– Я видел, как было с другими, – говорил майор. – Постепенно они так привыкали к Крепости, что становились ее пленниками и теряли способность сдвинуться с места. Старики в тридцать лет! Да уж...

– Может, вы и правы, господин майор, – ответил Дрого, – но в моем возрасте...

– Вы молоды, – не отступал Ортиц, – у вас еще многое впереди, это правда. Но на вашем месте я не стал бы тянуть. Упустите еще каких-нибудь два года – двух лет вполне достаточно, – и повернуть назад будет уже слишком трудно.

– Благодарю за совет, – сказал Дрого, на которого слова майора не произвели никакого впечатления, – но ведь здесь, в Крепости, тоже можно надеяться на что-то лучшее. Пусть это звучит нелепо, но если начистоту, то и вам придется признать...

– Да, к сожалению, – ответил майор. – Все мы так или иначе на что-то упорно надеемся. Но сами посудите, это же абсурд. – Он махнул рукой в сторону севера. – Войну с той стороны никогда не начнут. После этой недавней истории никто всерьез о войне уже не думает.

Майор поднялся, глядя на север так же, как в то далекое утро, когда они встретились с Дрого на краю равнины и он, зачарованный, вглядывался в загадочные стены Крепости. Четыре года прошло с тех пор – солидный отрезок жизни, – но за это время не случилось ничего, ровным счетом ничего такого, что могло бы оправдать его великие надежды. Дни уносились прочь один за другим; однажды утром на краю чужой равнины появились солдаты, которые могли оказаться врагами, но после будничных работ по разметке границы убрались восвояси. На свете царил мир, часовые не трубили тревогу, ничто не предвещало каких-либо изменений. Как и в прежние годы, с теми же, что и всегда, приметамы приближалась зима, и западный ветер тихонько посвистывал в штыках. Вот и он, майор Ортиц, по-прежнему здесь, стоит на террасе четвертого редута и, сам не веря собственным доводам, все вглядывается в северную пустыню, словно ему одному и дано право смотреть на нее, только ему и надлежит оставаться в Крепости – неважно, во имя какой цели, – а вот Дрого, хоть он и хороший парень, здесь не на своем месте, он просчитался, и пусть лучше уезжает.

XVII

Но вот снег на террасах Крепости сделался ноздреватым, и ноги стали проваливаться в него, как в кашу. С ближних гор вдруг донесся ласкающий ухо звон талой воды, на вершинах кое-где появились искрящиеся под солнцем белые продольные полосы, и солдаты, сами того не замечая, время от времени принимались что-то мурлыкать себе под нос впервые за несколько месяцев.

Солнце не спешило к закату, как прежде, а стало все дольше задерживаться на небе, растапливая накопившийся снег: тщетно с северных ледников все ползли и ползли облака – они несли с собой уже не снег, а лишь дождь, стремительно смывавший остатки снега. Опять пришла весна.

По утрам раздавалось птичье пение: все от него уже отвыкли. Да и вороны больше не собирались стаями на плацу Крепости в ожидании кухонных отходов, а разлетелись по долинам в поисках свежатинки.

По ночам в темноте вешалки, где висели ранцы, пирамиды для винтовок в казармах, двери и массивная мебель орехового дерева в комнате господина полковника – в общем, все деревянные вещи, даже самые старые, начинали поскрипывать. Иногда раздавался треск, похожий на пушечные выстрелы, казалось, что-то разлетается вдребезги; люди просыпались на своих койках и прислушивались, но ничего, кроме все тех же ночных скрипов, не слышали.

Наступило время, когда в старых стропилах заявляла о себе неизбывная тоска по жизни. Давным-давно миновали те счастливые дни, когда по веткам проходил молодой горячий ток, наливая силой великое множество почек. Потом дерево срубили. Но с приходом весны в нем просыпался слабый отголосок жизни. Когда-то были листья и цветы, а теперь – смутное воспоминание, которого хватало лишь на то, чтобы издать сухой треск и замереть в ожидании следующего года.

Наступило время, когда обитателей Крепости обычно посещали странные мысли, в которых не было ничего военного. Крепость казалась уже не надежным укрытием, а тюрьмой. Желтые с темными потеками стены и скошенные уступы бастионов совершенно не отвечали новому, весеннему настроению.

Какой-то офицер – со спины не разберешь, кто именно, но вполне возможно, что Джованни Дрого, – со скучающим видом обходит просторные и в этот утренний час пустынные солдатские умывалки и прачечную. Не для проверки, просто ему не сидится на месте; все здесь в полном порядке, раковины начищены, пол подметен, а в том, что какой-то кран подтекает, солдаты не повинны.

Офицер останавливается и смотрит вверх, на одно из окон. Оно закрыто, стекла его, очевидно, не мылись уже много лет и по углам затянуты паутиной. В общем, нет в нем ничего такого, что могло бы порадовать душу. Но сквозь стекла, хоть и с трудом, все же можно разглядеть небо. Да, одно и то же небо, вероятно, думает офицер, одно и то же солнце сияют сейчас и над жалкими раковинами, и над прекрасными далекими лугами.

Луга позеленели и недавно покрылись мелкими цветочками, которые, если смотреть отсюда, из Крепости, кажутся белыми. И деревья, конечно же, выпустили новые листики. Как, наверно, приятно без всякой цели носиться верхом по окрестностям! Да еще если на тропинке, вьющейся среди изгородей, встретится красивая девушка и, проходя совсем близко от твоего коня, приветливо тебе улыбнется. Ну не смешно ли? Подобаает ли офицеру крепости Бастиани предаваться столь глупым мечтаниям?!

Через запыленное окно умывалки, как ни странно, виднеется и красивое белое облако. Такие в точности облака плывут сейчас над далеким городом, гуляющая публика время от времени поглядывает на них, радуясь тому, что зима прошла; почти на всех новая или только что приведенная в порядок одежда, женщины в украшенных цветами шляпках и в ярких платьях. Вид у всех такой, будто сию минуту должно произойти что-то хорошее, радостное. Раньше, во всяком случае, все было именно так; кто знает, может, сейчас мода переменилась. Интересно, если, проходя мимо, ты заметишь в каком-нибудь окошке хорошенькую девушку, улыбнется ли она тебе просто так, беспричинно? Какие, в сущности, нелепые мысли лезут в голову! Глупости, простительные разве что школяру.

Через грязные стекла сбоку видна часть стены. Она тоже залита солнцем, но это как-то не радует. Что освещает стену казармы – солнце или луна, – совершенно безразлично, лишь бы не нарушался нормальный ход службы. Обыкновенная стена казармы, и только. И все же когда-то, в один из далеких сентябрьских дней, офицер как замороженный смотрел на эти стены: тогда казалось, что за ними его ждет суровая, но завидная судьба. И хотя ничего привлекательного в этих стенах не было, он несколько минут стоял перед ними неподвижно, словно перед каким-то чудом.

Офицер бродит по пустынным умывалкам; другие дежурят на редутах, носятся верхом по каменистому плацу, сидят в служебных кабинетах. Никто из них не может понять, что именно случилось, но лица окружающих всем почему-то действуют на нервы. Одни и те же физиономии, невольно думает каждый, одни и те же разговоры, та же служба, те же бумаги. А в душе бушуют неясные желания: чего она жаждет, словами выразить невозможно, ясно только, что это не имеет отношения к казарменным стенам, к солдатам, к звукам трубы.

Так скачи же, конек, по дорогам равнины, беги отсюда, пока не поздно, не останавливайся, даже если устал, скачи, пока не покажутся зеленые луга, милые сердцу деревья, дома, церкви и колокольни.

И тогда – прощай, Крепость, оставаться здесь опасно, твоя не такая уж трудная загадка разгадана, северная равнина, как была, так и будет пустынной, никогда оттуда не придет враг, чтобы атаковать эти жалкие стены, вообще никто больше не придет. Прощай, майор Ортиц, печальный друг, который уже неотделим от Крепости, как улитка от своего домика. Таких, как ты, здесь много: слишком долго вы упорствовали в своих мечтаниях, время обогнало вас, и начать сначала вы уже не сможете.

А вот Джованни Дрого сможет. Ничто его больше не держит в Крепости. Теперь он спустится с гор, вернется в нормальное общество, ему наверняка предложат завидное место – может быть, даже пошлют за границу – в свите какого-нибудь генерала. За годы, проведенные в Крепости, Джованни, конечно, упустил немало шансов, но ничего, он еще молод, впереди достаточно времени, чтобы наверстать упущенное.

Итак, прощай, Крепость, с твоими нелепыми редутами, терпеливыми солдатами, полковником, который каждое утро, тайком от всех, в подзорную трубу разглядывает северную пустыню. Напрасно! Никогда и ничего он там не увидит. Прощай, могила Ангустины – ему, пожалуй, единственному здесь повезло: по крайней мере он погиб как настоящий солдат, – все лучше, чем смерть на больничной койке. Прощай, комната, в которой Дрого честно проспал несколько сотен ночей. Прощай, двор, где и нынче вечером, как того требует устав, выстроятся солдаты, заступающие в караул. Последний прощальный привет северной пустыне, не оставившей в душе никаких иллюзий.

Выбрось все это из головы, Джованни Дрого, не оглядывайся назад теперь, когда ты уже на краю горного плато и дорога манит тебя в долину. Не проявляй такой глупой слабости. Тебе знаком каждый камешек крепости Бастиани, и можно не сомневаться, что ты никогда ее не забудешь. Конь весело бежит рысью, погода на славу, теплый воздух свеж и прозрачен, впереди еще долгая жизнь, она, можно сказать, только начинается. К чему оглядываться на эти стены, на казематы, на часовых, несущих караульную службу? Так, медленно переворачивается еще одна страница, ложась на другую сторону, прибавляясь к остальным, уже прочитанным: пока набирается лишь тоненькая стопочка. По сравнению с нею страниц, которые

предстоит еще прочитать, бесконечное множество. И все ж таки это еще одна прочитанная страница, господин лейтенант, целый, можно сказать, кусок твоей жизни.

Добравшись до каменистого края плато, Дрого действительно не оглядывается назад; когда начинается спуск, он без тени колебания, не повернув даже головы, прищипривает коня и довольно непринужденно насвистывает какой-то мотивчик, хотя непринужденность эта дается ему с трудом.

XVIII

Входная дверь была не заперта, и на Дрого сразу пахнуло знакомым, домашним духом: он помнил его с детства, когда возвращался домой после лета, проведенного на даче. Это был родной, милый сердцу запах, но после стольких лет в нем чувствовалось что-то жалкое. Да, верно, он напоминал Дрого далекие годы, воскресные радости, счастливые вечера за столом, безвозвратно ушедшее детство, но в то же время ассоциировался и с зашторенными окнами, корпением над уроками, утренней уборкой, болезнями, ссорами, мышами.

– Ой, молодой хозяин приехал! – радостно воскликнула добрая Джованна, открывая ему дверь.

А тут и мама вышла; слава Богу, она совсем не изменилась.

Сидя в гостиной и пытаясь ответить на множество вопросов, он чувствовал, как радость поневоле уступает место грусти. Дом по сравнению с прежними временами показался ему опустевшим: один брат уехал за границу, другой мотается Бог знает где, третий живет в деревне. Дома осталась только мама, но и ей надо было торопиться к мессе: в церкви ее уже ждала подруга.

В его комнате все было так, как при нем – даже к книгам никто не притрагивался, – и все-таки она показалась ему чужой. Он сел в кресло, прислушался к грохоту экипажей на улице, к громким голосам на кухне. Один в своей комнате... мама молится в церкви, братья разъехались, выходит, никому на всем белом свете нет дела до Джованни Дрого. Он открыл окно, увидел серые дома, сплошные ряды крыш, хмурое небо. Отыскал в одном из ящичков старые школьные тетради, дневник, который вел на протяжении нескольких лет, какие-то письма. Удивительно, неужели это писал он: какие-то странные дела и события, совсем стершиеся в памяти. Сел за пианино, взял несколько аккордов, захлопнул крышку. И подумал: что же дальше?

Как чужой, ходил он по городу в поисках старых друзей, но оказалось, что все они по горло заняты разными делами – своими предприятиями, своей политической карьерой. Друзья говорили с ним о серьезных и важных вещах, о заводах, железных дорогах, больницах. Кто-то пригласил его на обед, кто-то женился, каждый избрал собственный путь в жизни, и за четыре года все заметно от него отдалились. Как Джованни ни старался (а может, он утратил эту способность?), но ему так и не удалось воскресить прежние разговоры, шутки, словечки. Он бродил по городу, разыскивал старых друзей – ведь их было много, – но под конец неизменно оказывался один на тротуаре, а впереди, до вечера, оставалось еще столько времени.

Он гулял до поздней ночи с твердым намерением хорошенько поразвлечься. И каждый раз выходил из дому с одной и той же смутной юношеской надеждой встретить свою любовь, но неизменно возвращался разочарованным. Он

возненавидел улицу, по которой возвращался к дому, такую скучную, безлюдную, заставлявшую еще острее чувствовать свое одиночество.

Как раз в эти дни в городе давали грандиозный бал, и Дрого отправился туда вместе с единственным вновь обретенным другом Вескови в самом лучезарном настроении. Хотя весна вступила в свои права, светало не рано, времени было предостаточно, до рассвета могло случиться все что угодно – что именно, Дрого и сам не знал, но не сомневался, что его ждет масса всяких удовольствий. Он даже принялся заигрывать с девушкой в лиловом; часы еще не пробили полночь: как знать, может, до наступления утра между ними суждено родиться любви. Но тут его позвал хозяин дома, вознамерившийся показать ему свои владения, потащил его по всяким переходам и галереям, задержал в библиотеке, заставил по достоинству оценить все без исключения экспонаты своей коллекции оружия, завел разговор о стратегии, военных хитростях, рассказал несколько анекдотов из жизни королевской семьи, а время шло, стрелки на часах неслись вперед с устрашающей скоростью. Когда Дрого удалось наконец освободиться и он, горя нетерпением, вернулся в парадный зал, гости почти все разъехались, и девушка в лиловом исчезла – должно быть, отправилась домой.

Дрого пытался напиться, бессмысленно смеялся – напрасно: даже вино не помогало. А голоса скрипок становились все более вялыми, и наступил момент, когда музыка сделалась и вовсе ненужной, так как никто уже не танцевал. Удрученный Дрого очутился в саду, среди деревьев, и издали слушал расплывчатые звуки вальса; ощущение праздника мало-помалу улетучивалось, а небо постепенно бледнело – близился рассвет.

Звезды погасли, но Дрого все сидел, затаившись среди черных теней сада, и следил за рождением нового дня. Тем временем золоченые кареты одна за другой отъезжали от ворот. Оркестр наконец умолк; по комнатам ходил слуга, гася светильники. На дереве, прямо над головой у Дрого, раздалась звонкая и неудержимая птичья трель. Небо стремительно светлело, все вокруг затихло в доверчивом ожидании погожего дня. Вот сейчас, подумал он, первый луч уже коснулся бастионов Крепости и озябших часовых. Дрого тщетно напрягал слух, надеясь услышать зов трубы.

Город еще спал; дойдя до дома, Джованни чересчур громко хлопнул входной дверью. В комнаты сквозь щелки жалюзи уже просачивался слабый свет.

– Это я, спи, мама.

Он проходил по коридору, и, как обычно, как в те прежние, далекие времена, когда он возвращался домой за полночь, из комнаты, из-за двери до него донеслось что-то неразборчивое, ласковое, хотя голос был заспанный. Дрого, почти умиротворенный, направился к своей комнате, но мама как будто еще что-то сказала.

– Что, мама? – спросил он.

Слова его канули в тишину. Тут до него дошло, что за милый мамин голос он принял отдаленный грохот экипажа. Она действительно ничего не ответила, шаги сына в ночи уже не могли разбудить ее, как бывало раньше, они стали для нее чужими, словно их звук со временем изменился.

Когда-то его шаги она определяла безошибочно, как условный сигнал. Все другие ночные звуки, даже куда более громкие – грохот колес на улице, плач ребенка, лай собак, крик совы, хлопанье ставней, завывание ветра в водосточных трубах, шум дождя, скрип мебели, – не тревожили ее сон. Только шаги Джованни

будили ее, как ни старался он идти на цыпочках; просыпалась она не от топота, а просто оттого, что пришел сыночек.

Теперь, выходит, и этого уже нет. Вот он окликнул маму, как бывало, лишь чуть-чуть повысив голос; прежде она, слышав привычный звук его шагов, конечно же, проснулась бы. А теперь никто не отозвался на его слова, только прогромыхал вдалеке чей-то экипаж. Какая глупость, подумал Дрого, нелепое совпадение. Но, даже укладываясь в постель, он не мог отделаться от чувства горечи: прежняя материнская любовь словно потускнела, время и пространство незаметно опустили между ними завесу отчуждения.

XIX

А еще он навестил Марию, сестру своего друга Франческо Вескови. Перед домом у них был сад; с приходом весны деревья в нем покрывались молодыми листочками, и на ветках распевали пичуги.

Мария с улыбкой встретила его в дверях. Она знала, что Джованни должен прийти, и надела голубое платье в талию, похожее на то, давнее, которое когда-то ему нравилось.

Дрого думал, что встреча эта вызовет у него бурю чувств, заставит сердце учащенно биться. Но когда он подошел к девушке, вновь увидел ее улыбку, услышал голос («О, Джованни, наконец-то!»), совсем не такой, каким он себе его представлял, то понял, сколько времени утекло.

Он полагал, что остался таким же, как прежде, разве что немного раздался в плечах и потемнел от горного солнца. Впрочем, и она не изменилась. Но между ними возникла какая-то отчужденность.

Они вошли в большую гостиную, где можно было укрыться от солнца; в комнате, погруженной в мягкий полумрак – лишь узкая полоска света лежала на ковре, – тикали часы.

Они сели на кушетку – наискосок, чтобы лучше видеть друг друга. Дрого смотрел в глаза девушке, не зная, о чем говорить, она же оживленно вертела головой, глядя то на него, то на мебель, то на свой бирюзовый браслет – очевидно, совсем новенький.

– Франческо скоро придет, – сообщила она радостно. – А пока посиди со мной, тебе, наверно, есть о чем порассказать!

– О, – откликнулся Дрого, – право же, ничего особенного, все как обычно...

– А почему ты на меня так смотришь? – спросила она. – Я что, очень изменилась?

Нет, Дрого этого не находил, наоборот, он был даже удивлен, что в девушке за эти четыре года не произошло сколько-нибудь заметных перемен. И все-таки что-то в ней разочаровало его, чувств, во всяком случае, он никаких не испытал. Ему никак не удавалось обрести прежний тон, беззлобно-шутливый и почти родственный. Отчего она сидит на кушетке так чинно и старается говорить с ним как можно любезнее? Ему бы схватить ее за руку и сказать: «Да ты что, с ума сошла? С чего это тебе взбрело в голову разыгрывать чопорную даму?» И тогда ледок сломается...

Но Дрого чувствовал, что не может этого сделать. Перед ним сидел другой, незнакомый человек, чьи мысли он прочитать уже не в силах. А может, он сам стал другим и начал разговор с фальшивой ноты?

– Ты? Изменилась? – переспросил Дрого. – Нет-нет, ничуть.

– Ах, ты, верно, говоришь так потому, что я подурнела, вот и все. Признайся!

Неужели это сказала Мария? И не в шутку, а серьезно? Джованни недоверчиво слушал ее и все ждал, когда же она перестанет так манерно улыбаться, строить из себя недотрогу и рассмеется над собой же.

«Конечно, подурнела, и еще как», – ответил бы он ей в прежние добрые времена и, обняв за талию, притянул бы к себе. Но теперь?... Теперь это выглядело бы глупой, неуместной шуткой.

– Да нет же, уверяю тебя, – сказал он. – Ты ни капельки не изменилась, честное слово.

Она посмотрела на него с недоверчивой улыбкой и перевела разговор на другое.

– Ты насовсем вернулся?

Джованни ждал этого вопроса. (Надо было сказать: «Все зависит от тебя» – или что-нибудь в этом роде.) Но он рассчитывал услышать его раньше, с порога, если уж ей это действительно небезразлично. А теперь вопрос прозвучал неожиданно и задан был вроде бы просто из вежливости, без лирической подоплеки, – а это уже совсем другое дело.

В полумраке гостиной наступило минутное молчание; из сада доносились голоса птиц, а из какой-то дальней комнаты – медленные и невыразительные звуки фортепьяно: должно быть, там что-то разучивали.

– Не знаю, пока не знаю. Пока у меня только отпуск, – сказал Дрого.

– Только отпуск? – сразу же откликнулась Мария, и голос ее чуть-чуть дрогнул, то ли случайно, то ли выдавая разочарование или даже огорчение.

Нет, что-то их действительно разделяло, какая-то непонятная, неуловимая завеса отчужденности, которая никак не могла рассеяться: вероятно, она возникла во время разлуки, росла медленно, день за днем, помимо их воли.

– У меня есть два месяца. Потом я могу либо вернуться, либо получить другое назначение – может быть, и сюда, в город, – пояснил Дрого.

Поддерживать разговор становилось все труднее: в сущности, он был ему безразличен.

Оба помолчали. Полуденное оцепенение словно овладело городом; птицы умолкли, издали доносились только аккорды на фортепьяно – унылые и методичные; звуки эти, становившиеся все выше, выше, заполняли собой весь дом, и было в них удивительное упорство преодоления, жажда высказать что-то такое, что и высказать невозможно.

– Это дочка Микели с верхнего этажа, – сказала Мария, заметив, что Джованни прислушивается.

– Ты ведь тоже когда-то играла эту вещь, правда?

Мария грациозно склонила голову, прислушиваясь.

– Нет-нет, это слишком трудная пьеса, наверно, ты слышал ее где-нибудь в другом месте.

– А мне показалось... – заметил Дрого.

Звуки фортепьяно продолжали рассказывать о чьих-то мучениях. Джованни вглядывался в полоску света на ковре и думал о Крепости, представлял себе тающий снег, капель на террасах, неяркую весну в горах, приход которой отмечается лишь появлением мелких цветочков на лугах да разлитым в воздухе запахом скошенной травы.

– Теперь ты с полным правом можешь хлопотать о переводе, – снова заговорила девушка. – После стольких-то лет... Там, в горах, скучища, наверное!

Последние слова она произнесла с легким раздражением, словно Крепость стала ей ненавистна.

«Пожалуй, действительно скучновато, конечно же, я предпочел бы остаться здесь, с тобой». Эта жалкая фраза молнией пронеслась у него в мозгу, но даже ее выговорить он не рискнул. Банальные слова, хотя и их, вероятно, было бы довольно. Однако Джованни не без отвращения подумал, как нелепо прозвучали бы они в его устах, и желание произнести их тут же угасло.

– В общем, да, – ответил он, – но дни летят так незаметно!

Звуки фортепьяно не стихали. И почему эти аккорды забираются все выше и выше, так ничем и не завершаясь? По-ученически неуверенные, они со смиренной отстраненностью рассказывали какую-то старую, некогда дорогую ему историю. Сразу вспомнился один туманный вечер, тусклый свет городских фонарей, в котором они вдвоем гуляют под голыми деревьями по пустынной аллее; идут, держась за руки, словно дети, и не понимают, откуда взялось это внезапно нахлынувшее ощущение счастья. В тот вечер, помнится, из освещенных окон тоже доносились звуки фортепьяно, и, хотя это были, скорее всего, скучные экзерсисы, Джованни и Марии казалось, что никогда еще они не слышали ничего более нежного и мелодичного.

– Конечно, – добавил Дрого насмешливым тоном, – там, наверху, особых развлечений нет, но мы уж как-то привыкли...

Эта беседа в гостиной, где витал запах цветов, постепенно начинала приобретать налет поэтической грусти, свойственной признаниям в любви. Очевидно, думал Джованни, встреча после столь продолжительной разлуки и не могла быть иной... возможно, мы еще сумеем воскресить прежнее, ведь у меня впереди целых два месяца, нельзя же так сразу делать окончательные выводы... если она еще любит меня, я больше не вернусь в Крепость. Но Мария вдруг объявила:

– Вот жалость! Через три дня мы с мамой и Джорджиной уезжаем. Наверно, на несколько месяцев. – Тут она сразу оживилась. – Мы едем в Голландию!

– В Голландию?

Девушка с восторгом заговорила о предстоящем путешествии, о подружках, о своих лошадях, о веселых карнавалах – вообще о своей жизни, а о Дрого совсем забыла.

Она уже не казалась скованной и будто даже похорошела.

– Прекрасная идея, – сказал Дрого, чувствуя, как к горлу подкатывает ком горечи. – В Голландии, я слышал, это лучшее время года. Говорят, там целые поля цветущих тюльпанов.

– Да, сейчас там, должно быть, замечательно, – согласилась Мария.

– Вместо хлеба голландцы выращивают розы, – продолжал Джованни слегка изменившимся голосом, – везде одни розы, а над ними ветряные мельницы, такие яркие, свежескрашенные...

– Свежескрашенные? – переспросила Мария, уже расслышав насмешку в его голосе. – Как это?

– Так говорят, – ответил Джованни. – Да я и сам где-то читал.

Солнечная полоска проползла через весь ковер и уже поднималась по резной тумбе письменного стола. День клонился к вечеру, звуки фортепьяно стали глуше, какая-то птица за садом завела свою одинокую песню. Дрого смотрел на решетку камина – точно такая же была и в Крепости. Это сходство несколько его утешило, словно он убедился, что и город, и Крепость в конечном счете один и тот же мир с одним и тем же жизненным укладом. Однако, кроме решетки, ничего общего Дрого больше не нашел.

– Да, должно быть, это красиво, – сказала Мария, опустив глаза. – Но теперь, когда надо уже ехать, у меня пропала охота.

– Чепуха, так всегда бывает в последний момент: собирать вещи в дорогу – дело нудное, – сказал Дрого, притворившись, будто не понял ее намека на душевные переживания.

– Да нет, я не из-за сборов, вовсе нет...

Тут бы всего одно слово, одна обыкновенная фраза, показывающая, что отъезд девушки его огорчает, что он просит ее остаться. Но Дрого не хотел ни о чем ее просить, сейчас он и впрямь был не способен на это, ибо чувствовал, что сказал бы неправду. И потому он умолк, изобразив на лице ничего не значащую улыбку.

– А не выйти ли нам в сад? – предложила наконец Мария, не зная, что сказать еще. – Солнце уже, наверно, село.

Они поднялись. Мария замолчала, словно ждала, когда заговорит Дрого, и по ее взгляду при желании можно было угадать, что любовь еще не совсем угасла. Но при виде сада мысли Джованни унеслись к скудным лугам, окружавшим Крепость: там тоже скоро станет тепло и травка начнет храбро пробиваться между камнями. Наверно, именно в эту пору сотни лет назад Крепость осадили татарские орды.

– Как тепло, – сказал Дрого, – а ведь еще только апрель. Вот увидишь, скоро снова польют дожди.

Так он и сказал, а Мария растерянно улыбнулась и ответила бесцветным голосом:

– Да, действительно очень жарко.

И оба поняли, что все кончено. Теперь они снова далеки друг от друга, и между ними – пустота, тщетно они тянули друг к другу руки: эта пропасть с каждой минутой увеличивалась.

Дрого понимал, что еще любит Марию, любит ее мир, но все, что наполняло его ту, прежнюю жизнь, теперь отдалилось. Этот мир принадлежал уже другим, его место там занято. Он теперь наблюдал за ним извне, хотя и не без сожаления, но вернуться ему было трудно: новые лица, новые привычки, шутки, обороты речи, к которым он не привык. Это уже не его жизнь, он пошел по другому пути, возвращаться назад глупо и бессмысленно.

Поскольку Франческо все не шел, Дрого и Мария попрощались с преувеличенной сердечностью, при этом каждый старался не выдать своих мыслей. Мария крепко пожала ему руку, глядя прямо в глаза. Возможно, этот взгляд призывал его не уезжать вот так, не винить ее, попытаться еще спасти то, что кажется потерянным?

Он тоже пристально посмотрел на нее и сказал:

– До свидания. Думаю, до твоего отъезда мы еще увидимся.

И ушел, не оглядываясь, по-военному чеканя шаг, по дорожке, ведущей к воротам, – только галька заскрипела у него под ногами.

XX

Четырех лет службы в Крепости обычно было достаточно для перевода в другое место, но Дрого, опасаясь назначения в какой-нибудь дальний гарнизон и надеясь остаться в своем городе, решил добиться приема у командира дивизии. А главное – на этом настаивала мама. Надо действовать самому, говорила она, если не хочешь, чтобы о тебе позабыли, никто не станет ни с того ни с сего заботиться о Джованни, и, если он сам ничего не предпримет, его, скорее всего, опять ушлют куда-нибудь на границу, в захолустье. И мама пустила в ход все свои связи, чтобы генерал принял Джованни благосклонно.

Генерал сидел в своем огромном кабинете за большим письменным столом и курил сигару. Был обычный день, кажется, даже дождливый, а может, просто пасмурный. Старичок генерал добродушно воззрился в монокль на лейтенанта Дрого.

– Я хотел вас видеть, – первым заговорил он, словно сам был инициатором этой встречи, – чтобы узнать, как дела там, наверху. У Филиморе все в порядке?

– Когда я уезжал, господин полковник чувствовал себя прекрасно, ваше превосходительство, – ответил Дрого.

Генерал помолчал. Затем, по-отечески покачав головой, заметил:

– Доставили же вы нам хлопот со своей Крепостью! Нда... я имею в виду разметку границы. История с этим лейтенантом, как бишь его... вызвала большое неудовольствие его высочества.

Дрого не знал, что ответить.

– Да, так вот с этим лейтенантом... – продолжал свой монолог генерал, – как его фамилия? Ардуино, кажется?

– Ангустина, ваше превосходительство.

– Да-да, Ангустина, вот бедовая голова! Из-за глупого упрямства поставить под удар разметку пограничной линии. Не знаю, как они там... ну ладно, Бог с ними!... – решительно заключил он, выказывая свое великодушие.

– Но позвольте, ваше превосходительство, – осмелился заметить Дрого, – ведь Ангустина погиб!

– Возможно, очень даже возможно, вы, очевидно, правы, я уж и не помню, как там все было, – отмахнулся генерал, словно речь шла о какой-то чепухе. – Но его высочество был весьма недоволен, весьма!

Генерал умолк и вопросительно посмотрел на Дрого.

– Вы пришли... – сказал он весьма дипломатично и многозначительно. – В общем, вы здесь затем, чтобы просить о переводе в город, не так ли? Всех вас почему-то тянет в город, да-да, и никак вы не хотите понять, что только в отдаленных гарнизонах и становятся настоящими солдатами.

– Так точно, ваше превосходительство, – ответил Джованни Дрого, взвешивая каждое слово и стараясь держать себя в руках. – Я потому и отслужил там четыре года.

– Четыре года! В вашем-то возрасте! Разве ж это срок?! – смеясь, воскликнул генерал. – Говорю вам не в укор, разумеется... я просто имел в виду, что эта распространенная ныне тенденция, пожалуй, не способствует укреплению духа командного состава... – Он замолчал, потеряв нить разговора. Потом, сосредоточившись, продолжал: – Что ж, голубчик, попытаемся удовлетворить вашу просьбу. Сейчас мы заглянем в ваше личное дело.

В ожидании документов генерал заговорил снова:

– Крепость... Крепость Бастиани... посмотрим... Вы знаете, лейтенант, какое самое уязвимое место в крепости Бастиани?

– Право, не знаю, ваше превосходительство, – ответил Дрого. – Может быть, она стоит слишком уж на отшибе.

На лице генерала появилась снисходительная добродушная улыбка.

– Что за мысль! Станный вы все-таки народ, молодые, – сказал он. – На отшибе! Уверяю вас, я б до такого не додумался. Хотите, скажу вам, в чем слабость Крепости? В том, что там слишком велик гарнизон. Да, слишком велик!

– Слишком велик?

– Вот именно, – продолжал генерал, не замечая удивления лейтенанта, – именно поэтому принято решение изменить ее устав. Кстати, что об этом думают в Крепости?

– О чем, ваше превосходительство? Прошу прощения...

– Как это о чем? О новом уставе, о чем мы здесь с вами толкуем? – раздраженно сказал генерал.

– Впервые об этом слышу. Уверяю вас... – озадаченно пробормотал Дрого.

– Допускаю, что официальное сообщение действительно еще не пришло, – несколько смягчился генерал. – Но я думал, вы уже знаете, ведь военные всегда хитрят, узнавая все первыми.

– Вы говорите – новый устав, ваше превосходительство? – спросил заинтересованный Дрого.

– Сократить штаты, гарнизон уполовинить, – отрезал генерал. – Слишком много народу, я всегда говорил, что эту Крепость нужно хорошенько встряхнуть!

Тут вошел старший адъютант с толстой папкой бумаг. Раскрыв ее на одном из столов, он вынул личное дело Джованни Дрого и вручил его генералу, который пробежал страницы опытным глазом.

– Все в порядке. – сказал он, – но здесь не хватает, по-моему, прошения о переводе.

– Прощения о переводе? – спросил Дрого. – Я думал, после четырех лет службы это не обязательно.

– В общем, нет, – сказал генерал, и в его голосе прозвучало явное неудовольствие оттого, что приходится давать какие-то объяснения младшему по званию. – Но, поскольку сейчас мы проводим такое серьезное сокращение гарнизона и все хотят перевестись из Крепости, нужно соблюдать очередность.

– Но, ваше превосходительство, в Крепости об этом никто не знает, и никто такого прошения еще не подавал...

Генерал обратился к старшему адъютанту:

– Капитан, у нас есть уже прошения о переводе из крепости Бастиани?

– Штук двадцать наберется, ваше превосходительство, – ответил капитан.

Вот это да, подумал ошарашенный Дрого. Очевидно, товарищи по службе держали новость в секрете, чтобы обойти его. Неужели даже Ортиц так подло его обманул?

– Простите за настойчивость, ваше превосходительство, – осмелился заметить Дрого, поняв, что сейчас решается его судьба, – но мне кажется, что, если человек

отслужил подряд четыре года, это имеет большее значение, чем какая-то формальная очередность.

– Ваши четыре года – сущий пустяк, – холодно и даже немного обиженно возразил генерал. – Да, лейтенант, пустяк по сравнению с целой жизнью, проведенной в Крепости другими. Я, конечно, мог бы благожелательно рассмотреть ваш рапорт, мог бы посодействовать вам в вашем законном стремлении, но только не ценой попрапия справедливости. К тому же тут еще принимаются во внимание заслуги...

Джованни побледнел.

– Выходит, ваше превосходительство, – спросил он, еле ворочая от волнения языком, – выходит, я рискую провести там всю жизнь?

– ...Да, надо еще посмотреть, какие у вас заслуги, – невозмутимо продолжал генерал, не переставая листать личное дело Дрого. – А что мы имеем?... Ну вот: «Поставить на вид». Правда, «Поставить на вид» – это не столь уж серьезно... Ага, а здесь еще пренеприятная история: у вас там, кажется, по ошибке убили солдата...

– К сожалению, ваше превосходительство, я не...

– Мне недосуг выслушивать ваши оправдания, лейтенант, – прервал он. – Поймите, я читаю то, что написано в вашем рапорте, и допускаю даже, что это действительно был несчастный случай, такое, увы, бывает... но остальные ваши коллеги сумели же таких случаев избежать... Я готов сделать для вас все, что могу, я согласился принять вас лично, сами видите, но теперь... Вот если бы вы подали прошение месяц назад... Странно, что вы не в курсе дела... Это, конечно, серьезное упущение.

Прежнего добродушного тона как не бывало. Теперь генерал говорил сухо и наставительно, с едва уловимыми насмешливыми нотками в голосе. Дрого понял, что вел себя по-идиотски, что приятели надули его, что у генерала сложилось о нем весьма невыгодное впечатление и тут уж ничего не поделаешь. От такой несправедливости у него даже защемило в груди, где-то около сердца. А может, мне вообще бросить все, уйти в отставку, подумал он. Не умру же я с голоду, в конце концов, какие мои годы?...

Генерал по-свойски помахал ему рукой.

– Ну что ж, лейтенант, до свидания. И смотрите веселей!

Дрого застыл в стойке «смирно», щелкнул каблуками, отступил к двери и уже на пороге отдал честь.

XXI

Стук лошадиных копыт вновь разносится по пустынной ложине, порождая в тишине ущелий гулкое эхо, кусты на вершинах утесов застыли в неподвижности, желтая трава не шелохнется, даже облака плывут по небу с какой-то особой медлительностью. Конь не спеша идет в гору по белой дороге: Джованни возвращается.

Да, это Дрого: теперь, когда он приблизился, его легко можно узнать, но что-то не видно на его лице печати глубоких переживаний. И так, он не взбунтовался, не подал в отставку, безропотно проглотил обиду, смирился с несправедливостью и возвращается на свое же место. В глубине души он испытывает даже какое-то удовлетворение оттого, что все обошлось в его жизни без резких перемен, что теперь можно преспокойно вернуться к прежним привычкам. Дрого тешит себя надеждами, что когда-нибудь возьмет реванш, он думает, что впереди у него еще уйма времени, в общем, он отказывается от мелочной борьбы за место под

солнцем. Ничего, думает он, еще придет день, когда жизнь щедро заплатит ему по всем счетам. А между тем соперники, яростно тесня друг друга, чтобы вырваться вперед, на бегу обходят Дрого и, даже не оглянувшись, оставляют его позади. Дрого недоуменно смотрит им вслед, и его охватывают непривычные сомнения: а вдруг он действительно ошибся? Вдруг он и впрямь обыкновенный человек и ни на что, кроме вполне заурядной судьбы, рассчитывать не должен?

Джованни Дрого поднимался к одинокой Крепости точно так же, как в тот далекий сентябрьский день. Только теперь по другую сторону лощины он не увидел незнакомого офицера и на мосту, где соединялись две дороги, не встретился с капитаном Ортицом.

На этот раз Дрого ехал в одиночестве, предаваясь раздумьям о своей жизни. Он возвращался в Крепость Бог весть на какой срок именно в то время, когда многие его товарищи навсегда покидали эти стены. Да, товарищи оказались более проворными, думал Дрого, не исключено, что они и впрямь достойнее его: ведь происшедшее можно объяснить и так.

Чем больше проходило времени, тем больше Крепость утрачивала свое значение. Когда-то давно это был, вероятно, важный гарнизон, по крайней мере так считалось. А теперь, когда штат Крепости сократят вдвое, она станет всего лишь запасной преградой, не имеющей никакого стратегического значения. Держали ее с единственной целью – не оголять этот участок границы. Никто и мысли не допускал об угрозе нападения со стороны северной пустыни. Чего там можно было ожидать? Разве что появления на перевале какого-нибудь каравана кочевников. И это жизнь?

Погруженный в такие вот размышления, Дрого добрался во второй половине дня до края последнего плато и увидел впереди Крепость. Она уже не несла в себе, как в тот, первый раз, никакой волнующей тайны. В сущности, это была обыкновенная пограничная застава, жалкая крепостишка, стены которой не выдержали бы и нескольких часов обстрела артиллерией последнего образца. С течением времени она совсем разрушится: уже и сейчас некоторые зубцы искрошились, а один земляной вал совсем осыпался, но никто не собирался ничего чинить.

Так думал Дрого, стоя у конца плато и глядя, как часовые ходят взад-вперед по краю стены. Флаг на крыше бессильно свесился, трубы не дымились, ни единой живой души не было видно на плацу.

Какая скучная жизнь у него впереди! Веселый Морель, скорее всего, уедет одним из первых, и у Дрого не останется практически ни одного приятеля. Все та же караульная служба, та же игра в карты да изредка вылазки в ближайшую деревню, где можно выпить чего-нибудь и найти непритязательную подружку на часок. Какое убожество, думал Дрого. И все же было неизъяснимое очарование в этих контурах желтых редутов, какая-то тайна гнездилась во тьме оборонительных рвов, в сумрачных казематах. И все это создавало не передаваемое словами предощущение грядущих событий.

В Крепости его ждали всякие перемены. В связи с предстоящим отъездом многих офицеров и солдат повсюду царило необычайное оживление. Еще никто не знал точно, чьи именно прошения будут удовлетворены, и офицеры – а они почти все подали рапорты с просьбой о переводе – жили одной томительной надеждой, позабыв о прежнем служебном рвении. Даже Филиморе (про него-то было известно наверняка) собирался покинуть крепость, и уже одно это нарушало нормальный ход вещей. Беспокойство передалось и солдатам, поскольку значительная часть

рот – точного числа еще не сообщили – должна была перебазироваться на равнину. На дежурство выходили неохотно, нередко к моменту смены караула отряды бывали не готовы, все вдруг решили, что соблюдать такое множество мер предосторожности глупо и бессмысленно.

Казалось очевидным, что прежние надежды, пустые мечты о воинской славе, ожидание противника, который должен был нагрянуть с севера, – все, все было лишь иллюзией, попыткой придать какой-то смысл своей жизни. А теперь, когда появилась возможность вернуться в цивилизованное общество, то, что было прежде, казалось мальчишеством, никто не желал признаться, что он на что-то надеялся, более того – всякий готов был посмеяться над собственными глупыми надеждами. Главное теперь – уехать. Офицеры, добиваясь перевода, использовали протекцию, и в душе каждый был уверен, что уж его-то не обойдут.

– А ты? – задавали Джованни ни к чему не обязывающий вопрос те самые товарищи, которые скрыли от него столь важную новость, чтобы избавиться от лишнего конкурента. – А ты? – спрашивали они его.

– Мне, как видно, придется остаться здесь еще на несколько месяцев, – отвечал Дрого.

И тогда все принимались его утешать: ничего, черт побери, скоро и тебя переведут, это будет более чем справедливо, не надо унывать – и так далее.

Среди всех только Ортиц, казалось, ничуть не изменился. Ортиц не просил о переводе, его уже много лет все это не интересовало; о том, что гарнизон Крепости сокращается, он узнал последним и потому не успел предупредить Дрого. Ортиц равнодушно наблюдал за всеобщим смятением умов и с обычным усердием занимался делами Крепости.

Но вот наконец люди действительно начали уезжать. Во дворе одна за другой появлялись телеги, на которые грузили казенное имущество, и одна за другой выстраивались роты для прощального церемониала. Полковник каждый раз спускался из своего кабинета, чтобы произвести смотр, и произносил перед солдатами несколько прощальных слов: голос у него был невыразительный и угасший.

Многие из офицеров, проживших здесь, наверху, не один год и на протяжении сотен и сотен дней вглядывавшихся с высоты редутов в безлюдную северную пустыню, многие из тех, что вечно спорили о возможности или невозможности внезапной вражеской атаки, теперь уезжали с торжествующим видом, подмигнув напоследок остающимся друзьям, и во главе своих отрядов направлялись в сторону долины, картинно избоченясь в седле, и даже не оборачивались, чтобы в последний раз взглянуть на свою Крепость.

Только у Мореля, однажды солнечным утром тоже выстроившего во дворе свой взвод для прощания с комендантом, когда он, салютуя, опустил шпагу и отдал команду, в глазах блеснули слезы и дрогнул голос. Джованни, прислонившись к стене, наблюдал за этой сценкой и дружески улыбнулся, когда Морель проехал мимо него к воротам. Возможно, они виделись в последний раз, и Джованни поднес руку к козырьку, отдавая честь, как положено по уставу.

Потом он вернулся в холодные даже летом и с каждым днем все более пустевшие переходы Крепости.

При мысли, что и Морель уехал, душевная рана от перенесенной несправедливости неожиданно вновь открылась и заныла. Джованни отправился на поиски Ортица и увидел его на выходе из кабинета с пачкой бумаг.

– Здравствуйте, господин майор, – сказал он, идя рядом.

– Здравствуйте, Дрого, – ответил Ортиц, останавливаясь. – Что нового? Могу я быть вам чем-нибудь полезен?

Дрого действительно хотел спросить Ортица об одной вещи. Дело было простое, совершенно неспешное, и все-таки уже несколько дней оно не давало ему покоя.

– Простите, господин майор, – сказал он, – помните, когда я прибыл в Крепость, это было четыре с половиной года назад, майор Матти сказал мне, что здесь остаются служить только добровольно? Что, если кто-то хочет уехать, он может это сделать совершенно свободно? Помните, я вам об этом рассказывал? По словам Матти выходило, что мне надлежит только пройти медицинский осмотр – просто так, чтобы иметь формальный предлог, разве что, сказал он, это может вызвать некоторое неудовольствие полковника.

– Да-да, что-то такое смутно припоминаю, – ответил Ортиц с чуть заметным раздражением. – Но, простите, дорогой Дрого, сейчас мне...

– Минутку, господин майор... Помните, чтобы не причинять никому неудобства, я согласился остаться здесь на четыре месяца? Но если бы я все-таки захотел, то мог бы уехать, правда?

– Я понимаю вас, Дрого, дружище, – сказал Ортиц, – но вы ведь не один такой...

– Выходит, – запальчиво перебил его Джованни, – выходит, все это были просто отговорки? Выходит, неправда, что если бы я захотел, то мог бы уехать? И в этом меня убеждали только для того, чтобы я вел себя смирно?

– О нет! – воскликнул майор. – Я не думаю... Выбросьте это из головы!

– Не кривите душой, господин майор, неужели вы и впрямь верите, что Матти говорил тогда правду?

– Да ведь и со мной было примерно так... – уставившись в пол, сказал Ортиц смущенно. – Я тоже мечтал о блестящей карьере...

Они стояли в одном из длинных коридоров, и их голоса гулко и печально отражались от голых стен.

– Стало быть, неправда, что всех офицеров назначали сюда только по их личной просьбе? Всех, как и меня, заставили остаться здесь, ведь так?

Ортиц молчал, ковыряя концом сабли в щели каменного пола.

– А те, кто остались якобы по собственному желанию, выходит, обманывали меня? – допытывался Дрого. – Почему же ни у кого не хватило мужества сказать правду?

– Да нет, думаю, все не совсем так, – ответил Ортиц. – Кое-кто действительно остался по своей воле. Немногие, согласен, и тем не менее...

– Кто? Скажите же, кто именно?! – выпалил Дрого, но мгновенно спохватился: – Ой, простите, господин майор, я ведь совсем не вас имел в виду, иногда слова сами срываются...

Ортиц улыбнулся.

– Да и я ведь не о себе говорил. Если уж на то пошло, я тоже остался здесь по обязанности!

Они двинулись бок о бок по коридору мимо узких, забранных решеткой окон, за которыми виднелся пустынный плац перед Крепостью, горы с южной стороны и облачка пара – теплое дыхание долины.

– Так что ж, выходит, – заговорил Дрого после непродолжительного молчания, – все эти страсти, эти слухи о татарских ордах... в них никто, значит, и не верил?

– Еще как верили! – сказал Ортиц. – Верили. Действительно...

Дрого покачал головой.

– Ничего не понимаю, честное...

– Ну что я могу вам сказать? – перебил его майор. – Все это не так просто... Здесь, наверху, люди живут почти как в ссылке. Нужна же какая-то отдушина, люди должны на что-то надеяться. Кому-то первому взбрело это в голову, потом пошли разговоры о татарских ордах, разве теперь узнаешь, кто именно пустил слух?...

– Может, дело в самой местности? – размышлял Дрого. – Ведь как поглядишь на эту пустыню...

– Да уж, местность, действительно... Пустыня, туманная дымка вдали... Местность располагает. – Подумав немного, он заговорил снова, как бы отвечая самому себе: – Татары... да уж, татары... Сначала, конечно, это казалось глупостью, а потом все поверили, во всяком случае, многие.

– Но вы, господин майор, простите, вы-то...

– Я – другое дело, – проговорил Ортиц. – Я принадлежу к старшему поколению, у меня нет никаких честолюбивых помыслов о карьере, меня устраивает такое спокойное место... А вот у вас, лейтенант, у вас еще вся жизнь впереди. Через год – ну максимум через полтора – вас переведут...

– Вон он, Морель, счастливчик! – воскликнул Дрого, останавливаясь перед одним из окошек.

На голой и выжженной солнцем равнине фигурки солдат, удалявшихся по плато, вырисовывались очень четко. Несмотря на тяжеленные ранцы, шагали они бодро и уверенно.

XXII

Последняя рота, которой предстояло покинуть Крепость, была построена во дворе, и остающиеся думали о том, что с завтрашнего дня начнется новая жизнь теперь уж совсем небольшого гарнизона. Всем не терпелось покончить наконец с этими затянувшимися проводами, надоело злиться, глядя, как уезжают другие. Итак, рота уже была построена, ждали только подполковника Николози: на этот раз парад должен был принимать он. Но тут внимание Дрого привлек лейтенант Симеони, вернее, странное выражение его лица.

Лейтенант Симеони уже три года служил в Крепости, и все находили его добрым малым, недалеким, правда, грубоватым, но старательно исполняющим приказы начальства и превыше всего ставящим физическую подготовку. Выйдя во двор, Симеони начал беспокойно оглядываться по сторонам, словно ища, кому бы сообщить какую-то важную новость. Кому именно, для него, очевидно, не имело значения, так как ни с кем он не был особенно близок.

Заметив, что Дрого наблюдает за ним, Симеони подошел и тихо сказал:

– Иди посмотри. Скорее. Иди посмотри.

– А что такое?

– Я дежурю на третьем редуте, выскочил вот на минутку. Как только освободишься, приходи. Там что-то непонятное. – Он слегка запыхался, словно после пробежки.

– Где? Что ты видел? – спросил заинтригованный Дрого.

В этот момент трижды просигналила труба, и солдаты вытянулись по стойке «смирно», так как к ним направлялся комендант пришедшей в упадок Крепости.

– Подожди, когда они уйдут, – сказал Симеони охваченному нетерпением Дрого, хотя волноваться, по-видимому, было не из-за чего. – Скорее бы они ушли! Уже пять дней я все собираюсь сказать, но сначала пускай эти уберутся отсюда.

Наконец после краткого напутственного слова Николози и прощального сигнала трубы экипированные в расчете на долгий путь солдаты, тяжело топая, вышли за ворота Крепости и направились в сторону долины. Стоял сентябрь; небо было серым и скучным.

Симеони потащил за собой Дрого по длинным пустым коридорам к третьему реду. Пройдя через караулку, они очутились на смотровой площадке.

Лейтенант Симеони достал подзорную трубу и указал Дрого на небольшой треугольный участок равнины, не заслоненный горами.

– Что там такое? – спросил Дрого.

– Сначала посмотри сам. Вдруг я ошибся. Посмотри и скажи, есть там что-нибудь или нет.

Облокотившись о парапет, Дрого внимательно оглядел пустыню и в окуляр подзорной трубы, принадлежавшей лично Симеони, отчетливо увидел камни, ложбины, редкий кустарник, хотя находились они очень далеко.

Участок за участком Дрого просматривал этот треугольник и уже хотел сказать, что нет, ничего особенного он не заметил, как вдруг в самой глубине, там, где все сливалось с неизменной пеленой тумана, ему померещилось какое-то движущееся черное пятнышко.

Он все стоял, опершись о парапет, и смотрел в подзорную трубу, а сердце его бешено колотилось. Совсем как два года назад, подумал он, когда все решили, что подходит враг.

– Ты имеешь в виду вон то черное пятнышко? – спросил Дрого.

– Я уже пять дней за ним наблюдаю, но не хотел никому говорить.

– Почему? – удивился Дрого, – Чего ты боялся?

– Если б я сказал, отправку людей могли задержать. И тогда Морель и все остальные, которые думают, что нас обштопали, остались бы здесь и не упустили бы такого случая. Нет уж, чем меньше народу, тем лучше для нас.

– Какого случая? Что, по-твоему, там такое? Либо то же самое, что и в прошлый раз, либо отряд разведчиков, а может, и вовсе пастухи или даже какое-нибудь животное.

– Целых пять дней! – возразил Симеони. – Пастухи бы уже ушли, и животные тоже. Там что-то движется, но непонятно почему остается на одном и том же месте.

– Ну и какой же тут может быть «случай»?

Симеони с улыбкой посмотрел на Дрого, словно не зная, можно ли открыть ему тайну. Потом сказал:

– Думаю, они прокладывают дорогу. Военную дорогу. Сейчас самое время. Два года назад они приходили с разведкой, изучали местность, а теперь затевают что-то серьезное.

Дрого от души посмеялся.

– Да какая еще дорога? Кому в голову придет явиться сюда снова? Тебе мало того, что было в прошлый раз?

– Ты что, ослеп? – спросил Симеони. – Да у тебя, наверно, и впрямь неважно со зрением, а я вижу прекрасно: они начали насыпать полотно. Вчера день был солнечный, и я хорошо все разглядел.

Дрого покачал головой, удивляясь такому упорству. Выходит, Симеони еще не надоело ждать? И он боится открыть свою тайну, бережет ее, словно сокровище, опасаясь, как бы ее не похитили?

– Было время, – сказал Дрого, – когда и я бы в это поверил. Но теперь, по моему, ты все придумываешь. На твоём месте я бы помалкивал, чтобы не сделаться посмешищем.

– Они строят дорогу, – упрямо возразил Симеони и снисходительно глянул на товарища. – На это – ясное дело – уйдут месяцы. Но теперь все будет как надо, я уверен.

– Да если бы даже все было именно так, неужели, по-твоему, наши оголили бы Крепость, зная, что северяне строят дорогу, чтобы подтянуть по ней свою артиллерию? Это сразу бы стало известно в генеральном штабе. Там бы все знали давно, еще несколько лет назад.

– Генеральный штаб никогда не принимал крепость Бастиани всерьез. Пока нас не обстреляют, никто и не поверит... А когда они там убедятся, что все это правда, будет уже слишком поздно.

– Можешь говорить что угодно, но если бы они действительно строили дорогу, генеральный штаб был бы в курсе дела, уж в этом сомневаться не приходится.

– Генеральный штаб завален донесениями, но из тысячи, дай Бог, одно стоящее, поэтому они вообще ничему не верят. Да чего я с тобой спорю? Сам увидишь: все будет, как я сказал.

Они были одни у парапета обзорной площадки. Часовые, цепочка которых значительно поредела, ходили взад-вперед по строго отведенным участкам. Джованни снова посмотрел на север: скалы, пустыня, пелена тумана вдали и никаких признаков жизни.

Позднее из разговора с Ортицом Дрого узнал, что пресловутая тайна лейтенанта Симеони уже известна практически всем. Но никто не придавал ей значения. Многие даже удивлялись, с чего это такой серьезный молодой человек, как Симеони, стал распространять всякие вздорные слухи.

В те дни у всех были другие заботы. Из-за сокращения личного состава пришлось разредить караульные посты, и делалось все возможное, чтобы меньшими силами обеспечить почти такую же надежную охрану, как и прежде. Некоторые отряды вообще пришлось ликвидировать, а оставшиеся оснастить получше, переформировать роты и заново распределить места в казармах.

Впервые с тех пор, как была построена Крепость, часть ее помещений закрыли и заперли на засов. Портному Просдочимо пришлось расстаться с тремя подмастерьями, поскольку работы теперь на всех не хватало. То и дело на пути попадались совершенно пустые залы и кабинеты, где на стенах выделялись светлые прямоугольники – раньше там стояла мебель и висели картины.

Черное пятнышко, продолжавшее двигаться в самой отдаленной точке равнины, по-прежнему считали пустяком. Лишь немногие иногда просили у Симеони подзорную трубу, чтобы тоже глянуть в ту сторону, но и они утверждали, что ничего там нет. Сам Симеони, поскольку никто не принимал его всерьез, старался избегать разговоров о своем открытии, не обижался на шутки и на всякий случай тоже посмеивался.

Но однажды вечером Симеони неожиданно зашел к Дрого и повел его за собой. Уже стемнело, и была произведена смена караула. Малочисленный караульный отряд Нового редута возвратился, и Крепость готовилась к очередному дежурству – к еще одной бесцельно потраченной ночи.

– Пойди посмотри. Ты же не веришь, так вот пойди и посмотри, – говорил Симеони. – Либо мне померещилось, либо там что-то светится.

И они пошли. Поднялись на стену у четвертого редута. В темноте Симеони передал Дрого свою подзорную трубу: пусть глянет.

– Да ведь темно же, – сказал Джованни. – Разве в такой темноте что-нибудь увидишь?

– А я говорю – посмотри, – настаивал Симеони. – Конечно, я мог и ошибиться. Но ты все же посмотри туда, куда я показывал в прошлый раз, и скажи, видишь ты там что-нибудь или нет.

Дрого поднес подзорную трубу к правому глазу, направил ее строго на север и увидел во мраке крошечный огонек, бесконечно малую точку, испускавшую мерцающий свет на самой границе полосы тумана.

– Светится! – воскликнул Дрого. – Я вижу маленькое светящееся... погоди... – Он стал настраивать окуляр. – Не пойму, там один огонек или больше, иногда кажется, что их там два.

– Вот так-то! – торжествующе воскликнул Симеони. – По-твоему, я идиот?

– Ну и что? – возразил Дрого, правда на этот раз не очень уверенно. – Допустим, там действительно что-то светится. А может, это цыганский табор или пастухи у костра.

– Это строительство, – заявил Симеони. – Там строится новая дорога, вот увидишь, что я прав.

Как ни странно, но невооруженным глазом светящуюся точку разглядеть было невозможно. Даже часовые (а среди них были люди опытные, бывалые охотники) ничего не видели.

Дрого снова наставил подзорную трубу, отыскал далекий огонек, несколько мгновений смотрел на него, а потом поднял трубу и из праздного любопытства поглядел на звезды. Они усыпали весь небосклон, и от этой красоты невозможно было отвести глаз. Но на востоке их было значительно меньше, потому что там, распространяя слабое свечение, поднималась луна.

– Симеони! – позвал Дрого, заметив, что товарища рядом нет.

Тот не откликнулся. Наверно, спустился по лестенке, чтобы проверить посты на стенах.

Дрого огляделся. В темноте он мог различить лишь пустынную смотровую площадку, силуэт фортификаций, черные тени гор. До его слуха донесся бой часов. Самый последний часовой справа должен сейчас издать свой ночной клич, который затем пронесется от солдата к солдату по всем стенам. «Слушай! Слушай!» Потом тот же клич прокатится в обратном направлении и наконец затихнет у подножия высоких утесов. Теперь, когда часовых на стене стало вдвое меньше, подумал Дрого, голоса перекликающихся проделают свой путь из конца в конец значительно быстрее. Но было почему-то тихо.

И тут вдруг на Дрого нахлынули воспоминания о желанном и далеком мире. Вот, например, красивый дворец на берегу моря теплой летней ночью, рядом сидят милые изящные создания, слышится музыка... Картинки счастья, рисовать которые

молодому человеку вполне позволительно... Полоска на востоке, у самого горизонта, становится все отчетливей и чернее оттого, что предрассветное небо начинает бледнеть. Какое счастье жить вот так, не считая часов, не ища забвения в сне, не боясь никуда опоздать, а спокойно ждать восхода солнца, наслаждаться мыслью, что впереди еще бесконечно много времени, что можно ни о чем не тревожиться. Из всех прелестей мира самыми желанными для Джованни (несбыточная мечта!) были сказочный дворец у моря, музыка, праздность, ожидание рассвета. Пусть это глупо, но именно таким рисовался ему утраченный душевный покой, обретавший в этих образах наиболее яркое выражение. Дело в том, что с некоторых пор какая-то непонятная тревога стала постоянной его спутницей: ему казалось, он чего-то не успеет сделать или произойдет нечто важное, а он не будет к этому готов.

После разговора с генералом там, в городе, у него осталось мало надежд на перевод в другое место и на блестящую карьеру, но Джованни понимал, что не может же он на всю жизнь остаться в Крепости. Рано или поздно придется принимать какое-то решение. Потом привычная, рутинная обстановка снова затягивала его, и Дрого переставал думать о товарищах, сумевших своевременно бежать, о старых друзьях, ставших богатыми и знаменитыми; он утешался мыслями о тех, кто разделял с ним его ссылку, и не сознавал, что это могли быть слабые или сломленные люди – отнюдь не пример, достойный подражания.

Со дня на день откладывал Дрого свое решение; он ведь еще молод, всего двадцать пять... Однако эта смутная тревога не давала ему покоя, а тут еще огонек, появившийся на северной равнине; как знать, может, Симеони и прав.

В Крепости об этом говорили мало, а если говорили, то как о чем-то незначительном, не имеющем к ним никакого отношения. Слишком свежо еще было разочарование из-за несостоявшейся войны, хотя вслух и тогда никто не осмеливался высказать свои надежды. И слишком свежи были обида и унижение: видеть, как уезжают товарищи, а самому оставаться здесь с горсткой таких же, как и ты, неудачников, стеречь эти никому не нужные стены. Сокращение гарнизона со всей определенностью показало, что генеральный штаб не придает больше никакого значения крепости Бастиани. Прежде такие заманчивые и, казалось, вполне осуществимые мечты сейчас гневно осуждались. Симеони, опасаясь насмешек, предпочитал помалкивать.

А в последующие ночи загадочных огней вообще не было видно, да и днем не отмечалось никакого движения на дальнем краю равнины.

Майор Матти, поднявшийся просто из любопытства на стену бастиона, попросил у Симеони подзорную трубу и внимательно оглядел пустыню. Тщетно.

– Держите свою трубу, лейтенант, – сказал он Симеони безразличным тоном. – Вместо того чтобы понапрасну портить зрение, вам, пожалуй, следовало бы больше интересоваться своими людьми. Я видел одного часового без портупей. Пойдите взгляните, по-моему, это вон тот, крайний.

Вместе с Матти был лейтенант Мадерна, который потом передал этот разговор в столовой, вызвав всеобщий хохот. Сейчас все заботились только об одном: как бы провести время без забот и волнений, а об истории с северянами старались не вспоминать.

Симеони продолжал обсуждать непонятное явление с одним только Дрого. На протяжении четырех дней действительно не было больше видно ни огней, ни

движущихся точек, но на пятый они появились вновь. Северные туманы – пытался объяснить загадку Симеони – то надвигаются, то отступают в зависимости от времени года, направления ветра и температуры; за прошедшие четыре дня они спустились к югу, накрыв участок, где предположительно была строительная площадка.

Огни не просто появились: примерно через неделю Симеони заявил, что они сдвинулись с места и приблизились к Крепости. На этот раз Дрого решительно с ним не согласился: как можно в ночной темноте, не имея никакого ориентира, определить, сместились они или нет, даже если они действительно сместились?

– Но если ты допускаешь, – упрямо твердил Симеони, – что доказать этого в любом случае нельзя, значит, у меня столько же оснований утверждать, что они сдвинулись, сколько у тебя – что они остались на месте. Ладно, поживем – увидим. Я буду каждый день наблюдать за теми точками, и скоро – ты убедишься – они приблизятся.

На следующий день оба стали попеременно смотреть в подзорную трубу. В сущности, различить можно было три или четыре маленьких пятнышка, которые передвигались чрезвычайно медленно. Настолько медленно, что продвижение их было почти незаметным. Приходилось выбирать ориентиры – большой валун, какой-нибудь холмик – и на глаз прикидывать расстояние между точкой и ориентиром. Через какое-то время можно было убедиться, что оно изменилось. Значит, точка сдвинулась.

До Симеони столь поразительного явления никто не наблюдал, но ведь не исключено, что оно было и раньше, на протяжении многих лет или даже веков; скажем, там могли находиться деревня или колодец, к которому стягивались караваны, – просто в Крепости до сих пор никто не пользовался такой сильной подзорной трубой, какая была у Симеони.

Движение пятнышек происходило почти всегда по одной линии: вперед или назад. Симеони решил, что это телеги, груженные камнями или щебнем; людей, говорил он, на таком расстоянии не разглядишь.

Как правило, одновременно можно было увидеть лишь три или четыре движущиеся точки. Если допустить, что это повозки, рассуждал Симеони, на каждые три движущиеся должно приходиться по меньшей мере шесть стоящих на месте – под погрузкой и под разгрузкой, но рассмотреть их невозможно, так как они сливаются с множеством неподвижных деталей пейзажа. Значит, на этом отрезке маневрируют с десятков повозок, запряженных четверками лошадей, – именно так обычно транспортируют тяжелые грузы. Людей же соответственно должно быть несколько сотен.

Эти наблюдения, бывшие поначалу предметом шуточных споров, стали единственным развлечением в жизни Дрого. Хотя Симеони – не такой уж интересный собеседник и большой педант – был ему не очень симпатичен, Джованни почти все свободное время проводил с ним, и даже вечерами в офицерской столовой они засиживались вдвоем до поздней ночи, продолжая строить различные догадки.

Симеони уже все рассчитал. Даже если допустить, что работы ведутся медленно, и сделать неизбежные поправки на дальность, все равно северянам понадобится не более полугода, чтобы подойти к Крепости на расстояние пушечного выстрела. Он полагал, что противник, скорее всего, остановится под прикрытием каменной гряды, тянувшейся через пустыню в меридиональном направлении.

Эта гряда обычно сливалась с ландшафтом, но временами вечерние тени или пласты снега позволяли ее разглядеть. Она тянулась к северу, и невозможно было определить, насколько высоки и круты ее склоны. А участок пустыни, которого из-за нее не было видно даже с Нового редута (со стен Крепости гряда вообще не просматривалась), и по-прежнему оставался неисследованным.

Между верхней частью этой гряды и подножием гор, то есть тем местом, где возвышался скалистый конус Нового редута, простиралась плоская и однообразная пустыня, местами покрытая трещинами, усеянная холмиками щебенки, кое-где поросшая тростником.

Когда дорога будет проложена до самой гряды, предполагал Симеони, противник, воспользовавшись, например, безлунной ночью, сможет преспокойно, одним броском одолеть оставшееся расстояние. Грунт здесь достаточно плотный и ровный, так что подтянуть к этому месту артиллерию особого труда не составит.

Но вычисленный срок – полгода, – добавлял лейтенант, может в зависимости от обстоятельств превратиться в семь-восемь месяцев или того больше. И тут Симеони начинал перечислять возможные причины задержки: ошибка при определении расстояния, которое предстоит преодолеть противнику; наличие других промежуточных преград, невидимых с Нового редута (работы там могут оказаться более трудоемкими и занять больше времени); постепенное замедление темпов строительства по мере того, как чужеземцы будут удаляться от своих источников снабжения; осложнения политического характера, в силу которых строительство может на какое-то время приостановиться; снег, обычно парализующий работы на два-три месяца; дожди, превращающие равнину в сплошное болото. Это только основные препятствия. Симеони перечислял их очень старательно и подробно, чтобы не выглядеть безумцем, находящимся во власти бредовой идеи.

А что, если у строителей дороги нет никаких агрессивных намерений? Что, если ее прокладывают, например, в целях освоения новых, необозримых земель, до сих пор никем не возделывавшихся, бесплодных и необитаемых? А может, работы вообще прекратятся после того, как северяне пройдут еще пару километров? Так возражал ему Дрого.

Симеони качал головой. Пустыня слишком камениста, чтобы ее можно было возделывать, отвечал он. К тому же северное королевство располагает множеством заброшенных лугов, используемых только под пастбища, – для земледелия места там гораздо удобнее.

Но где сказано, что чужеземцы строят именно дорогу?... Симеони уверял, что в очень ясные дни, на закате, когда тени заметно удлиняются, ему удастся разглядеть прямую черточку насыпи. Дрого, как ни старался, так ее и не увидел. Кто может поручиться, что эта прямая линия – не просто особенность рельефа! Загадочные движущиеся черные точки и огни по ночам еще ничего не значат: возможно, они были там всегда, просто в прежние годы их нельзя было разглядеть из-за тумана (не говоря уже о несовершенстве старых подзорных труб, которыми до последнего времени пользовались в Крепости).

Так они всё спорили до первого снега. Не успело кончиться лето, подумал Джованни, и вот уже наступают холода. Ему и впрямь казалось, будто он только что возвратился из города и даже толком не устроился на прежнем месте. А на календаре было 25 ноября, выходит, уже промчалось несколько месяцев.

Валил густой снег, и засыпанные им террасы стали белыми. Глядя на снежное покрывало, Дрого чувствовал, как усиливается уже ставшая привычной тревога; тщетно пытался он отогнать ее мыслями о своей молодости, о том, как много лет у него впереди. Время непонятным образом все ускоряло свой бег, проглатывая день за днем. Не успеешь оглянуться – наступает ночь, солнце огибает землю с другой стороны и поднимается снова, чтобы осветить засыпанный снегом мир.

Все остальные его товарищи, казалось, не замечали этого. Несли, как обычно, свою службу без всякого рвения и даже радовались, когда на доске приказов появлялось название следующего месяца, словно это им что-то сулило. Вот и еще на месяц меньше осталось торчать в крепости Бастиани, считали они. У каждого был свой предел – у кого скромный, у кого славный, – и в общем он их вполне устраивал.

Даже майор Ортиц, которому было под пятьдесят, равнодушно отсчитывал пронесившиеся недели и месяцы. Он давно отказался от своей великой мечты и теперь говорил: «Еще лет десять – и можно на пенсию». Майор намеревался вернуться к себе домой, в старинный тихий город, где, по его словам, у него были какие-то родственники. Дрого смотрел на Ортица сочувственно, но понять его не мог. Что будет делать Ортиц там, внизу, среди обывателей, один, без всякой цели в жизни?

– Я научился довольствоваться малым, – говорил майор, как будто читая мысли Джованни. – С каждым годом мне нужно от жизни все меньше и меньше. Если ничего не изменится, домой вернусь в чине полковника.

– А потом? – спрашивал Дрого.

– А потом – все, – отвечал Ортиц, спокойно улыбаясь. – Потом снова буду ждать... С сознанием выполненного долга, – заключал он шутливо.

– Но за эти десять лет здесь, в Крепости... Может быть...

– Война? Вы все еще помышляете о войне? Мало вам того, что уже было?

На северной равнине, на границе вечных туманов, больше не появлялось ничего подозрительного; даже ночные огни погасли. И Симеони был этому чрезвычайно рад. Все говорило о том, что он прав: никакая там не деревня и не цыганский табор, а строительство, которое пришлось прервать из-за снега.

XXIII

Зима уже не один день хозяйничала в Крепости, когда на доске приказов, висевшей на одной из стен во дворе, появилось странное распоряжение. Озаглавлено оно было так: «Пресечь паникерские и ложные слухи». «В соответствии с четким указанием верховного командования предлагаю младшему офицерскому составу и солдатам не принимать на веру, не повторять и не распространять лишённые какого бы то ни было основания тревожные слухи о мнимой опасности нападения на наши границы. Подобные слухи не только нежелательны по вполне очевидным причинам дисциплинарного порядка, но могут подорвать нормальные добрососедские отношения с пограничным государством и вызвать в войсках излишнюю нервозность, мешающую нормальному несению службы. Я требую, чтобы дежурство часовых осуществлялось традиционными методами, исключаящими прежде всего применение оптических приборов, не предусмотренных уставом. Нередко используемые без всякой надобности, они могут стать причиной ошибок и неверного истолкования фактов. Каждому владеющему таким прибором предлагаю доложить о нем командиру своего

подразделения, на которого возлагается обязанность изъять оный и держать у себя на хранении».

Далее следовали обычные распоряжения относительно караульной службы и подпись коменданта Крепости подполковника Николози.

Было ясно, что приказание, формально обращенное к солдатам, в действительности адресовалось офицерам. Таким образом Николози достигал двойной цели: никого не порицая в отдельности, он предупреждал об имеющем место нарушении сразу всю Крепость. Естественно, никто из офицеров уже не осмеливался в присутствии часовых разглядывать пустыню в подзорную трубу с более сильной оптикой, чем у казенных. А казенные приборы, приданные редутам, устарели и стали практически непригодными, к тому же многие из них были давно утеряны.

Кто же донес на офицеров? Кто сообщил об этом в генеральный штаб? Все невольно подумали о майоре Матти – это сделать мог только он, он, вечно размахивающий уставом и готовый отравить малейшую радость, пресечь любую попытку свободно дышать и мыслить.

Большинство офицеров посмеялись над этой историей. Начальство, говорили они, верно себе и, как всегда, реагирует на события с опозданием в два года. Действительно, кому теперь придет в голову опасаться какого-то нашествия с севера? Ах да, есть ведь еще Дрого и Симеони (как же о них-то забыли?). Но неужели приказ был отдан только в расчете на этих двоих? Дрого, такой славный малый, думали все, ну какой от него можно ждать неприятности, даже если он целый день и не выпускает из рук подзорной трубы? Симеони тоже считали человеком безобидным.

Сам Джованни в глубине души был уверен, что приказ подполковника имеет отношение именно к нему. В который раз уже жизненные обстоятельства складывались против него. Кому помешало, что он по нескольку часов в день вел наблюдения за пустыней? Зачем лишать его такого невинного удовольствия? Есть от чего взбеситься. Ведь он так рассчитывал на весну: едва растает снег, на дальней северной оконечности пустыни вновь появятся таинственные огни, черные точки снова начнут двигаться взад и вперед, пробуждая в душе угасшие было надежды.

С этими надеждами он связывал всю свою жизнь, только теперь их разделяет с ним один лишь Симеони, а другим до этого и дела нет. Даже Ортицу, даже старшему портному Просдочимо. Да, это прекрасно – вот так, вдвоем, беречь свою тайну; не то что в былые времена, еще до смерти Ангустины, когда все чувствовали себя заговорщиками и даже испытывали друг к другу что-то вроде ревности.

А теперь подзорная труба под запретом. Симеони с его дисциплинированностью, конечно же, не рискнет больше ею пользоваться. Даже если на границе вечных туманов вновь загорятся огни, даже если там опять заснут черные точки, в Крепости никто уже об этом не узнает, так как невооруженным глазом их не увидят и лучшие часовые, прославленные стрелки, способные больше чем за милю разглядеть обыкновенную ворону.

В тот день Дрого не терпелось услышать мнение Симеони, но он решил дожидаться вечера, чтобы не привлекать к себе внимания, не то кто-нибудь сразу побежит докладывать начальству. Симеони же в полдень не явился в столовую, да и вообще его что-то нигде не было видно.

К ужину Симеони пришел, но позднее обычного, когда Дрого уже начал есть. Торопливо проглотив еду, он опередил Джованни и тотчас пересел за карточный стол. Неужели он боялся остаться с Дрого с глазу на глаз?

Оба они в тот вечер были свободны от дежурства. Джованни сел в кресло рядом с дверью, чтобы перехватить товарища на выходе, и сразу заметил, что во время игры Симеони как бы исподтишка поглядывает в его сторону.

Играл он допоздна, гораздо дольше обычного – чего раньше с ним не бывало, – и продолжал поглядывать на Дрого в надежде, что тот устанет ждать. Под конец, когда все разошлись, ему тоже пришлось подняться и направиться к двери. Дрого встал и пошел с ним рядом.

– Привет, Дрого, – сказал Симеони, растерянно улыбаясь. – Что-то тебя не видно, ты где был?

Так они дошли до одного из мрачных коридоров, тянувшихся вдоль всей Крепости.

– Да я же сидел со всеми, – ответил Дрого. – Зачитался и даже не заметил, что так поздно.

Некоторое время они шли молча в отсветах редких фонарей, симметрично развешанных на обеих стенах. Остальные офицеры были далеко: лишь их неразборчивые голоса доносились из глубины полутемного коридора. Наступила глубокая ночь, было холодно.

– Ты читал приказ? – спросил вдруг Дрого. – Как тебе нравится эта история с ложной тревогой? С чего бы это? И кто мог донести?

– А я почему знаю, – ответил Симеони почти грубо, останавливаясь у поворота на лестницу, которая вела на верхний этаж. – Тебе сюда?

– А как же подзорная труба? – поинтересовался Дрого. – Неужели нельзя будет пользоваться твоей подзорной трубой хотя бы...

– Я уже сдал ее в комендатуру, – сухо прервал его Симеони. – Думаю, так будет лучше. Тем более что за нами следили.

– По-моему, ты слишком поторопился. Месяца через три, когда снег сойдет, думаю, никто о ней и не вспомнит. И тогда мы могли бы снова посмотреть... Разве дорогу, о которой ты говорил, увидишь без твоей подзорной трубы?

– А, ты все об этой дороге, – сказал Симеони снисходительно. – Знаешь, я все-таки убедился, что прав был ты!

– Я? В чем же?

– Нет там никакой дороги, скорее всего, это действительно деревня или цыганский табор, как ты и говорил.

Неужели Симеони был до того напуган, что решил отрицать все начисто и, опасаясь неприятностей, перестал доверять даже ему, Дрого? Джованни заглянул ему в глаза. В коридоре, кроме них, не было уже никого, голоса смолкли, на стенах плясали две чудовищно вытянутые тени.

– Значит, ты больше не веришь в это? – спросил Дрого. – И действительно думаешь, что ошибся? А как же твои расчеты?

– Да я делал их так, чтобы убить время, – ответил Симеони, пытаясь обратить все в шутку. – Надеюсь, ты не принял это всерьез?

– Признайся, ты просто испугался, – презрительно сказал Дрого. – После этого приказа ты теперь никому не доверяешь.

– Да что на тебя нашло сегодня? – удивился Симеони. – Не понимаю, о чем ты. С тобой, оказывается, и пошутить нельзя, ты, право, как ребенок.

Дрого продолжал смотреть на Симеони. Несколько мгновений оба стояли в мрачном коридоре молча, но тишина была слишком гнетущей.

– Ладно, я пошел спать, спокойной ночи! – не выдержав, сказал Симеони и стал подниматься по лестнице, каждую площадку которой тоже освещал слабый фонарь. Поднявшись на один марш, он скрылся за поворотом; видна была только его тень на стене, потом и она исчезла.

Вот слизняк, подумал Дрого.

XXIV

Время между тем проносится быстро. Неслышно, но все более стремительно отмеряет оно течение нашей жизни, и невозможно задержать даже мгновение – просто для того, чтобы оглянуться назад. Хочется крикнуть: «Остановись, остановись!» Бесполезно. Все, все уносится назад: люди, весны и зимы, облака, – и зря мы цепляемся за камни, за верхушку какой-нибудь скалы: уставшие пальцы разжимаются, руки безвольно падают, и все дальше несет нас река времени, с виду вроде бы медленная, но безостановочная.

С каждым днем Дрого все отчетливее чувствовал таинственную разрушительную силу времени и тщетно старался сдержать ее. В однообразной жизни Крепости ему не хватало ориентиров, и часы ускользали прежде, чем он успевал сосчитать их.

Но была одна тайная надежда, ради которой Дрого растрачивал лучшие годы своей жизни. Лелея ее в душе, он незаметно для себя приносил в жертву многие месяцы, но и их не хватало. Зима, такая долгая в Крепости зима, была своего рода залогом будущих удач. Но и она кончалась, а Дрого все ждал.

Вот станет тепло, думал он, и чужеземцы опять примутся за свою дорогу. Но теперь у него не было подзорной трубы Симеони, позволяющей наблюдать за ними. И все-таки, если работы продолжаются – кто знает, сколько времени на это уйдет? – рано или поздно северяне должны будут приблизиться, и в один прекрасный день их увидят даже в старые подзорные трубы, сохранившиеся в некоторых караулках.

И потому Дрого решил ждать появления чужеземцев не весной, а несколько месяцев спустя, если, конечно, его предположения о прокладке дороги сбудутся. Все эти мысли он должен был вынашивать тайно, ибо Симеони, опасавшийся неприятностей, ничего не хотел больше слушать, остальные товарищи просто подняли бы его на смех, да и начальство к подобным фантазиям относилось неодобрительно.

В начале мая, сколько ни глядел Дрого в самую лучшую казенную трубу, ему не удалось обнаружить на равнине никаких признаков человеческой деятельности. И по ночам там не светились огни, хотя их-то легко заметить даже на большом расстоянии.

Понемногу надежды Дрого стали слабеть. Трудно верить во что-то, когда ты один и невозможно ни с кем поделиться своими мыслями. Именно в это время он понял, что люди, какими бы близкими ни были их отношения, в сущности, всегда чужие друг другу: если человеку плохо, боль остается только его болью, никто другой не может взять на себя хотя бы малую ее толику; если человек страдает, другие этих страданий не чувствуют, даже если их соединяет с ним настоящая любовь. И это порождает в жизни одиночество.

Вера начала ослабевать, а нетерпение возрастало, и Дрого казалось, будто часы стали бить чаще. Случалось, он за целый день ни разу не обращал взгляда на север (сам себя обманывая, он объяснял это просто забывчивостью, в действительности же он не смотрел туда нарочно, чтобы в следующий раз шансов на то, что надежды его наконец сбудутся, было хоть чуточку больше).

Но как-то вечером – сколько же времени потребовалось! – в окуляре подзорной трубы появился маленький трепещущий язычок пламени, слабенький такой огонек, который, казалось, вот-вот угаснет, но, если учесть расстояние, это мог быть вполне солидный источник света.

Дело было ночью 7 июля. Спустя годы Дрого все еще вспоминал наполнившее его душу радостное удивление, желание куда-то бежать, кричать, объявляя новость всем без исключения, и гордость от сознания, что он сумел пересилить себя и никому ничего не сказал – из суеверного страха, как бы огонек этот не погас.

Каждый вечер, выйдя на крепостную стену, Дрого принимался ждать; и с каждым вечером огонек вроде бы понемногу приближался, становился больше. Иногда это был лишь обман зрения, объяснявшийся его нетерпением, а иногда огонек действительно становился ближе, так что в конце концов один из часовых разглядел его невооруженным глазом.

Потом даже среди бела дня на фоне белесой пустыни уже можно было видеть движущиеся черные точки – все было, как и в прошлом году, разве что подзорная труба теперь была послабее. Следовательно, чужеземцы намного продвинулись вперед.

В сентябрьские тихие ночи огни предполагаемого строительства отчетливо видели даже люди, не отличавшиеся особо острым зрением. Постепенно среди военных возобновились разговоры о северной равнине, о чужеземцах, об этих странных перемещениях и ночных огнях. Многие считали, что там действительно строится дорога, хотя с какой целью – объяснить не могли; предположения о военном строительстве казались абсурдными. Да и работы велись слишком уж медленно, и остававшееся расстояние было еще так велико.

Но все-таки однажды вечером кто-то, пусть и в туманных выражениях, первым заговорил о войне, и казавшаяся несбыточной надежда вновь задышала в стенах Крепости.

XXV

На краю гряды, протянувшейся в меридиональном направлении через северную равнину, примерно в миле от Крепости врыт столб. От него до скалистого конуса Нового редута простирается ровный участок пустыни со спекшейся землей, по которой свободно может пройти артиллерия. На краю впадины торчит столб – это удивительное для здешних мест творение рук человеческих прекрасно видно даже невооруженным глазом с верхней площадки Нового редута.

Вот куда дотянули свою дорогу чужеземцы. Огромная работа наконец завершена, но какой невероятной ценой! Лейтенант Симеони в своих выкладках отводил на строительство шесть месяцев. Но шести месяцев не хватило, как не хватило и восьми, и десяти. И все-таки дорога проложена, вражеская конница может промчатся по ней с севера галопом, а до стен Крепости будет уже рукой подать. Им останется лишь пересечь последний участок – несколько сот метров – по ровной и гладкой поверхности. Но обошлось это дорого: пятнадцать лет

понадобилось, пятнадцать бесконечно долгих лет, хотя пронеслись они быстро, как сон.

На первый взгляд ничего вроде бы не изменилось. Все те же горы вокруг, на стенах форта все те же пятна – возможно, появились и новые, но они почти неразличимы. Все то же небо, та же Татарская пустыня, если не считать чернеющего на краю гряды столба и прямой черты, которая то виднеется, то пропадает – в зависимости от освещения. Это и есть знаменитая дорога.

Пятнадцать лет для гор – суший пустяк, и даже на бастионах Крепости они не оставили сколько-нибудь заметного следа. Но для людей путь этот был долог, хотя самим им и кажется, что годы пролетели как-то незаметно. Люди в Крепости почти все те же; все тот же распорядок, те же смены караула, те же разговоры ведут по вечерам офицеры.

Но, если хорошенько взглядеться, можно заметить, что время все-таки наложило свой отпечаток на лица. К тому же гарнизон опять сократили. Стены на большом протяжении не охраняются, и пройти там можно без всякого пароля; наряды часовых размещены только в самых главных пунктах; даже Новый редут решено закрыть и лишь через каждые десять дней посылать туда наряд для проверки. Так мало значения придает теперь генеральный штаб крепости Бастиани.

Прокладку дороги по северной равнине он тоже не принял всерьез. Кто говорил, что это обычная нерасторопность командования, кто – что в столице им, конечно, видней. Ясно было одно: дорога проложена без каких бы то ни было агрессивных намерений. Объяснения эти выглядели малоубедительными, но других ведь не было.

Жизнь в Крепости стала еще более однообразной и уединенной. Полковник Николози, майор Монти и подполковник Матти вышли на пенсию. Гарнизон теперь командует подполковник Ортиц, а всем остальным, за исключением портного Просдочимо, так и оставшегося сержантом, присвоены более высокие звания.

В одно прекрасное сентябрьское утро Дрого, теперь уже капитан Джованни Дрого, вновь поднимается верхом по крутой дороге, ведущей из долины в крепость Бастиани. У него был месячный отпуск, но прошло только двадцать дней, а он уже спешит обратно: город стал для него совершенно чужим, старые друзья преуспели, заняли солидное положение в обществе и здороваются с ним небрежно, как с простым офицером. Да и родной дом, по-прежнему любимый, вызывает у Дрого лишь чувство щемящей жалости. Всякий раз, приезжая, он застаёт его почти пустым – мамина комната опустела навсегда, братья вечно в разъездах, один из них женился и перебрался в другой город, второй продолжает мотаться по свету, комнаты кажутся нежилыми – голоса в них отдаются гулким эхом, даже открытые окна и солнце не помогают.

Итак, Дрого вновь поднимается из долины к Крепости, только жизнь его стала короче на целых пятнадцать лет. Однако он не чувствует в себе особых перемен: время промчалось до того быстро, что его душа не успела состариться. И хотя смутная тревога о безвозвратно ушедшем времени с каждым днем заявляет о себе все сильнее, Дрого упорно не расстаётся с иллюзией, что самое главное у него еще впереди. Джованни терпеливо ждет своего часа, который все не наступает, он не думает о том, что будущее страшно укоротилось, что оно уже не такое, как прежде, когда казалось чуть ли не бесконечным – таким неисчерпаемым богатством, которое можно тратить без оглядки.

Однажды Дрого вспомнил, что давно уже не занимался верховой ездой на плацу перед Крепостью. Он даже заметил, что у него пропала к этому всякая охота, а последние месяцы (Бог весть уже сколько) он не взбегал по лестницам, перепрыгивая через две ступеньки. Глупости, думает Джованни, физически он здоров, как прежде; несомненно, все можно начать сначала, и доказывать себе ничего не надо – это было бы даже смешно.

Да, физически нынешний Дрого не уступает прежнему, и, вздумай он сейчас погарцевать на коне или взбежать по лестнице, у него бы это прекрасно получилось, но главное в другом, главное, что его уже не тянет к этому, что после обеда он предпочитает подремать на солнышке, а не гонять взад-вперед по каменистому плацу. Вот в чем дело, вот что свидетельствует об уходящих годах.

О, если бы такие мысли пришли ему в голову в тот вечер, когда он впервые стал подниматься по лестнице ступенька за ступенькой! Он чувствовал себя немного усталым, что верно, то верно, голову словно обручем стянуло, он даже отказался сыграть по привычке в картишки (впрочем, и раньше бывали случаи, когда он не носился по лестницам из-за какого-нибудь легкого недомогания). Но он и представить себе не мог, что тот вечер был очень печальной вехой на его пути, что на тех ступеньках, в ту именно минуту кончилась его молодость, что на следующий день его образ жизни станет уже другим и бывшее не вернется ни завтра, ни послезавтра. Никогда.

И вот сейчас, когда Дрого, задумавшись, поднимается верхом по крутому солнечному склону ущелья и уже притомившийся конь переходит на шаг, с противоположной стороны доносится чей-то голос.

«Господин капитан!» – слышит он и, обернувшись, замечает на дороге, вьющейся по другому склону, молодого верхового офицера. Лицо вроде незнакомое, но, судя по знакам различия, это лейтенант. По-видимому, думает Дрого, еще один офицер его гарнизона возвращается из отпуска в Крепость.

– Что такое? – спрашивает Джованни, остановив коня и ответив на уставное приветствие лейтенанта.

Какая причина могла побудить молодого офицера окликнуть его, да к тому же с такой непринужденностью?

Поскольку тот не отвечает, Дрого кричит громче и уже несколько раздраженно:

– Что такое?

Выпрямившись в седле, незнакомый лейтенант складывает ладони рупором и кричит:

– Ничего, просто я хотел поздороваться с вами!

Подобное объяснение кажется Джованни глупым, почти даже оскорбительным, слишком уж оно похоже на насмешку. Еще полчаса езды, и будет мост, где обе дороги сливаются. Так к чему эти неуместные гражданские церемонии?

– Кто вы? – кричит в ответ Дрого.

– Лейтенант Моро!

Лейтенант Моро? Так по крайней мере капитан расслышал. В Крепости никого с такой фамилией нет. Может, это новый младший офицер направляется к месту назначения?

Только тут болью отдается в его душе воспоминание о далеком дне, когда он впервые поднимался по дороге к Крепости, о встрече с капитаном Ортицом именно в этом месте ущелья, о своем нетерпеливом желании перекинуться словом с живым человеком, о неловкой попытке завязать разговор через пропасть.

Все точно так, как в тот день, думает он, с той лишь разницей, что роли поменялись и теперь он, Дрого, старый капитан, в сотый раз поднимающийся к крепости Бастиани, а новенького, незнакомого ему лейтенанта зовут Моро. Только тут до сознания Дрого доходит, что за это время сменилось целое поколение, что он уже перевалил через роковую черту, в лагерь стариков, к которому, как ему показалось в тот далекий день, принадлежал Ортиц. И вот, разменявший пятый десяток, не совершивший в жизни ничего значительного, оставшийся без детей, без единого близкого существа на всем белом свете, Джованни растерянно озирается по сторонам и чувствует, что его жизнь покатила под уклон.

Он видит оцетинившиеся кустарником стенки, сырые ущелья, далекие голые, теснящиеся на фоне неба хребты, бесстрастное лицо гор; а на другой стороне ущелья – молоденького лейтенанта, оробевшего и растерянного, который, конечно же, тешит себя надеждой, что служить ему в Крепости всего несколько месяцев, и мечтает о блестящей карьере, славных ратных подвигах, романтической любви.

Дрого треплет по шее своего коня, а тот дружелюбно поворачивает к нему голову, но понять ведь ничего не может. Сердце у Дрого сжимается: прощайте, давние мечты, прощайте, радости жизни! Ясное солнце ласково светит людям, живительный воздух струится из долины, благоухают горные луга, птичье пенье вторит шуму водопада. В такой прекрасный день люди должны быть счастливы, думает Дрого и с удивлением замечает, что все вокруг как будто осталось таким, как в то чудесное утро его юности. Он трогает поводья. Через полчаса Дрого видит мост, где сливаются обе дороги, думает о том, что скоро ему предстоит вести разговор с лейтенантом, и сердце его снова тоскливо сжимается.

XXVI

Почему теперь, когда дорога проложена, северные соседи исчезли? Почему люди, повозки, лошади ушли вверх по равнине и скрылись в северном тумане? Ради чего проделана вся эта работа?

Было хорошо видно, как группы землекопов отбывали одна за другой и постепенно превращались в крошечные точки, различимые только в подзорную трубу, – совсем как пятнадцать лет назад. Они открыли путь солдатам: теперь войско северян могло двинуться по нему на приступ крепости Бастиани.

Но никакого войска что-то не было. В Татарской пустыне осталась лишь линия дороги, след разумной человеческой деятельности на фоне вечного запустения. Вражеское войско не спешило нападать, все, казалось, было отложено, кто знает, на сколько еще лет.

И равнина вновь замерла в оцепенении. По-прежнему неподвижны были северные туманы, неизменной осталась подчиненная уставу жизнь Крепости, часовые, как всегда, мерили шагами крепостную стену из конца в конец, прежним оставался солдатский быт; дни шли, похожие один на другой, повторяясь до бесконечности, как солдаты, печатающие шаг. И все-таки время не стояло на месте, не заботясь о людях, оно проносилось над миром, умерщвляя все, что некогда было прекрасным; и никто не мог укрыться от него, даже еще безымянные младенцы.

На лице Джованни появились морщины, его волосы поседел, походка стала не такой легкой, как раньше; поток жизни уже отбросил его в сторону, туда, где у краев бурлили воронки, – а ведь ему еще не было и пятидесяти. Конечно, Дрого не выходил больше в караулы, у него теперь был свой кабинет в комендатуре – рядом с кабинетом подполковника Ортица.

Когда наступал вечер, поредевший гарнизон уже не мог помешать темноте завладевать Крепостью. Значительные участки стены оставались без охраны, и казалось, именно оттуда просачиваются в Крепость мысли о мраке и горестном одиночестве. Да, старый форт стал похож на островок, затерявшийся среди мертвых земель: справа и слева высились горы, к югу тянулась безжизненная долина, а к северу – Татарская пустыня. Какие-то странные непривычные звуки гулко разносились глубокой ночью по лабиринтам фортификаций, заставляя сердца часовых учащенно биться. Из конца в конец над стеной все еще проносилось: «Слушай! Слушай!», но переключаться солдатам стало трудно – слишком большое расстояние отделяло их друг от друга.

В этот период Дрого оказался свидетелем первых разочарований лейтенанта Моро – таких же, как у него самого в молодости. Вначале Моро тоже испугался, поспешил к майору Симеони, выполнявшему теперь обязанности Матти; но его уговорили остаться хотя бы на четыре месяца, а кончилось тем, что он увяз и тоже стал чересчур пристально вглядываться в северную пустыню с этой новой и никому вроде бы не нужной дорогой, будившей в нем надежды на воинскую славу. Дрого хотелось поговорить с Моро, предостеречь, посоветовать ему уехать из Крепости, пока не поздно; тем более что Моро был парень симпатичный и старательный. Но какая-нибудь глупая мелочь неизменно мешала их разговору, да и вряд ли из этого что-нибудь бы вышло.

По мере того как отрывались и падали один за другим серые листки дней и черные – ночей, у Дрого, Ортица (а возможно, и у некоторых других старых офицеров) возрастали опасения, что им теперь уже ничего не успеть. Нечувствительные к необратимому ходу времени, чужеземцы не трогались с места, словно считали себя бессмертными и им было не жаль проматывать зимы и весны. В Крепости же обретались бедняги, беззащитные перед натиском времени и сознающие, что их жизненный предел уже близок. Вехи, которые когда-то казались почти фантастическими, настолько они были далеки, вдруг замаячили довольно близко, напоминая о быстротечности жизни. Всякий раз, чтобы найти в себе силы тянуть лямку и дальше, нужно было придумывать какую-то новую систему, новые точки отсчета и утешаться тем, что другим еще хуже.

Но вот и Ортицу пришла пора удалиться на покой (а на северной равнине не было заметно ни малейшего признака жизни, даже крошечного огонька). Подполковник Ортиц сдал дела новому коменданту Крепости – Симеони, собрал во дворе весь личный состав – за исключением, разумеется, отрядов, несших караульную службу, – с трудом произнес перед ними речь, взобрался не без помощи адъютанта в седло и выехал за ворота Крепости с эскортом, состоящим из одного лейтенанта и двоих солдат.

Дрого проводил его до края плато. Там они и попрощались. Было начало длинного летнего дня, по небу плыли облака, тени которых причудливыми пятнами ложились на землю. Спешившийся подполковник Ортиц отошел с Дрого в сторонку; оба молчали, не зная, что сказать друг другу на прощание. Потом обменялись вымученными и банальными словами, такими жалкими и совсем не похожими на то, о чем болела душа.

– Вся моя жизнь теперь изменится, – сказал Дрого. – Пожалуй, я бы тоже уехал отсюда. Прямо хоть в отставку подавай.

– Ты еще молод! – сказал Ортиц. – Подавать в отставку глупо, еще можно успеть...

– Успеть? Что?

– Повоевать. Вот увидишь, не пройдет и двух лет...

(Он говорил, а в душе надеялся, что этого не случится, ибо хотел, чтобы Дрого тоже вернулся домой, как и он, не дождавшись, когда Фортуна ему улыбнется, – слишком велика была бы несправедливость. Хотя к Дрого он испытывал вполне дружеские чувства и желал ему только добра.)

Но Джованни ничего не ответил.

– Да уж, и двух лет не пройдет... – повторил Ортиц, надеясь услышать возражения.

– Да какое там – двух лет, – заговорил наконец Джованни, – века пройдут, а то и больше. Дорога, считайте, заброшена: с севера никто уже не явится.

И хотя вслух он произнес именно эти слова, голос сердца говорил ему другое. В глубине души у него с молодых лет сохранилось пусть нелепое, но неодолимое предчувствие роковых событий, смутная уверенность, что лучшее в его жизни еще и не начиналось.

Оба умолкли, заметив, что этот разговор отдаляет их друг от друга. Но о чем еще было говорить им, прожившим под одной крышей и мечтавшим об одном и том же почти тридцать лет? Теперь, после столь долгого совместного пути, дороги их разошлись, вели в разные стороны, но обе – в неведомое.

– Какое солнце! – сказал Ортиц, глядя слегка помутневшими от старости глазами на стены своей Крепости, которую он покидал навсегда.

А стены оставались все такими же – желтоватыми и сулящими необыкновенные приключения. Ортиц пристально глядел на них, и никто, кроме Дрого, не мог бы догадаться, как он страдает.

– И правда жарко, – ответил Джованни, вспомнив о Марии Вескови, о том давнем разговоре в гостиной, куда доносились наводящие грусть фортепьянные аккорды.

– Да уж, погода на славу, действительно, – подтвердил Ортиц.

Оба улыбнулись в знак того, что хорошо понимают друг друга и подлинный смысл этих вроде бы пустых слов. Какое-то облако накрыло их своей тенью, и на несколько минут все вокруг потемнело, зато по контрасту ослепительным зловещим светом вспыхнули на солнце стены Крепости. Две большие птицы кружили над первым редутом. Издалека донесся едва различимый сигнал трубы.

– Слышишь? Труба, – сказал старый офицер.

– Нет, ничего не слышу, – солгал Дрого, чувствуя, что такой ответ больше придется по душе товарищу.

– Наверно, я ошибся. Да отсюда ее и не может быть слышно. Действительно, чересчур далеко, – произнес Ортиц дрогнувшим голосом. Потом, справившись с волнением, добавил: – А помнишь нашу первую встречу, когда ты приехал сюда и испугался? Ты еще не хотел тогда оставаться, помнишь?

Дрого смог только ответить:

– Очень давно это было... – И странный ком подкатил у него к горлу.

Следуя извилистому ходу своих мыслей, Ортиц сказал:

– Кто знает, может, на войне я бы еще пригодился. Принес бы какую-то пользу. Но на войне... а в остальном, как видишь, я – пустое место.

Облако уплыло. Оно уже перевалило за Крепость и теперь скользило по направлению к унылой Татарской пустыне, медленно удаляясь на север. Вот и все... Солнце засияло вновь, и на земле опять появились тени двух мужских фигур. Лошади Ортица и тех, кто его сопровождал, нетерпеливо били копытами по камням метрах в двадцати от них.

XXVII

Страницы переворачиваются, проходят месяцы и годы. Бывшие школьные товарищи Дрого уже, можно сказать, устали от работы, у них окладистые бороды с проседью, они степенно ходят по улицам, и все почтительно с ними здороваются, у них уже взрослые дети, а кое у кого есть и внуки. Старые друзья Дрого, довольные своей карьерой, любят теперь понаблюдать с порога возведенного ими здания за течением жизни; в водоворотах толпы они с удовольствием отыскивают взглядом собственных детей, подбадривают их, торопят, побуждая обгонять других, всего достигать первыми. А Джованни Дрого еще чего-то ждет, хотя надежды его с каждой минутой слабеют.

Теперь он действительно изменился. Ему пятьдесят четыре года, он уже майор и помощник коменданта немногочисленного гарнизона Крепости. Еще недавно перемены в нем как-то не бросались в глаза и его никак нельзя было назвать стариком. Время от времени, хотя и не без труда, он для разминки делал круг-другой верхом по плацу.

Потом Дрого начал худеть, лицо его приобрело неприятный желтоватый оттенок, мышцы сделались дряблыми.

– Печень пошаливает, – говорил доктор Ровина, уже глубокий старик, твердо решивший окончить свои дни в Крепости. Но порошки, прописанные доктором, не помогали, по утрам Джованни просыпался разбитым, с ноющей болью в затылке. Сидя у себя в кабинете, он только и ждал, когда наступит вечер, чтобы можно было рухнуть в кресло или на постель.

– Заболевание печени, осложненное общим истощением организма, – говорил доктор.

Но какое могло быть истощение организма при его образе жизни?

– Все пройдет, такие вещи – не редкость в вашем возрасте, – уверял Ровина. – Не так скоро, как хотелось бы, но пройдет, во всяком случае, ничего опасного я не нахожу.

Так в жизнь Дрого вошло еще одно дополнительное ожидание, еще одна надежда – на выздоровление. Впрочем, своего нетерпения он никак не выказывал. В северной пустыне по-прежнему было спокойно, ничто не предвещало возможного нашествия врага.

– Сегодня ты выглядишь лучше, – каждый день утешали его сослуживцы.

Но сам Дрого не чувствовал улучшения. Сильные головные боли и изнурительное расстройство желудка, которыми он страдал первое время, действительно прошли; никаких особых физических страданий он больше не испытывал. Но силы почему-то все убывали.

Комендант Крепости Симеони говорил ему:

– Возьми отпуск и поезжай отдохни, хорошо бы тебе пожить где-нибудь у моря.

А когда Дрого отказывался, уверяя, что чувствует себя лучше и предпочитает остаться, Симеони укоризненно качал головой, словно Джованни, отвергая его полезный совет, вполне отвечающий духу и букве устава, а также интересам гарнизона и собственного благополучия, проявляет неблагодарность. Симеони так подавлял всех своей безукоризненной правильностью, что многие не раз поминали добрым словом прежнее начальство, даже старшего адъютанта Матти.

О чем бы он ни говорил, в словах его, пусть самых благожелательных, всегда слышался скрытый укор остальным, словно только он один выполняет свой долг до конца, он один – опора Крепости, он один улаживает бесконечное множество неприятностей, из-за которых все могло бы полететь кувырком. Прежний комендант в свои лучшие годы был примерно таким же, только менее лицемерным, он не считал нужным скрывать свою черствость, а его грубость и суровость иногда даже нравились солдатам.

К счастью, Дрого подружился с доктором Ровиной и благодаря его помощи сумел остаться в Крепости. Из какого-то непонятого суеверия он боялся покинуть Крепость по болезни, опасаясь, что потом ему уже не вернуться. Эта мысль была для него невыносимой. Лет двадцать тому назад он ухватился бы за такую возможность: окунуться в спокойную светскую жизнь городского гарнизона с летними учениями, занятиями на стрельбище, конными состязаниями, театрами, блестящим обществом, дамами. А что теперь? Еще несколько лет, и надо будет выходить на пенсию, карьера его закончилась, в лучшем случае найдут ему место при каком-нибудь штабе – только чтоб дослужить. Оставалось несколько лет, его последний шанс; как знать, а вдруг за это время и произойдет долгожданное событие? Он отдал Крепости лучшие годы своей жизни и считал себя вправе хотя бы подождать до последней минуты.

Чтобы ускорить выздоровление, Ровина посоветовал Дрого поменьше думать о работе и лежать целый день в постели: нужные бумаги и документы пусть приносят ему в комнату. Стоял холодный и дождливый март, из-за дождей были страшные обвалы в горах; внезапно по непонятным причинам обрушивались целые скалы и, дробясь, летели в пропасть со зловещим грохотом, не затихавшим в ночи на протяжении нескольких часов.

Наконец с огромным трудом стала проклевываться весна. Снег на перевале уже стаял, но густые туманы еще цеплялись за Крепость. Рассеять их могло лишь жаркое солнце, настолько спрессовался за зиму сырой воздух в долинах. Но однажды утром, проснувшись, Дрого увидел, что на деревянном полу вновь появилась полоска солнечного света, и понял, что весна все-таки пришла.

И в душе вновь затеплилась надежда, что ее приход даст ему новые силы. Даже в старых деревянных стропилах весной появляются отголоски жизни: ночи наполняются каким-то поскрипыванием, потрескиванием. Все словно бы начинает жить заново, на мир обрушивается волна здоровья и радости.

Именно об этом и думал Дрого, воскрешая в памяти подходящие высказывания великих писателей, чтобы укрепиться в своих надеждах. Он поднялся с постели и, пошатываясь, подошел к окну. Слегка кружилась голова, но мысль, что так бывает со всеми, кто долго пролежал в постели, несколько успокоила его. И верно, головокружение скоро прошло, и Дрого смог полюбоваться сиянием солнца.

Казалось, во всем мире разлита безмерная радость. Сам Дрого видеть ничего не мог, так как перед его окном высилась стена, но эту радость он легко угадывал. Даже старые крепостные стены, красноватая земля во дворе, посеревшие

деревянные скамейки, пустая повозка, медленно бредущий солдат – все прямо источало радость. А как же, наверно, хорошо там, по другую сторону стен!

Дрого захотелось одеться, посидеть на открытом воздухе в кресле, погреться на солнце, но какой-то внутренний озноб удержал его от этого и заставил вернуться в постель. И все же сегодня я чувствую себя лучше, гораздо лучше, подумал он, веря, что так оно и есть.

Мирно сияло восхитительное весеннее утро; полоска солнечного света медленно перемещалась по полу. Время от времени Дрого поглядывал на нее и не обнаруживал в себе ни малейшего желания заниматься бумагами, скопившимися у него на тумбочке. К тому же стояла необычайная тишина, которую почему-то не нарушали ни доносившийся иногда голос трубы, ни шум воды в цистерне. Даже став майором, Дрого не пожелал расстаться со своей комнатой, опять-таки из чистого суеверия; а к всхлипам цистерны он настолько привык, что они ничуть его не раздражали.

Дрого наблюдал за мухой, севшей прямо на полоску солнечного света. То была нежданная гостья, непонятно как пережившая зиму. Он внимательно наблюдал за ее перемещениями, но тут кто-то постучал в дверь.

Джованни отметил про себя, что стук странный. Это, конечно, был не денщик, и не капитан Корради из военной канцелярии (тот свой стук неизменно сопровождал вежливым «разрешите»), и никто из обычных посетителей.

– Войдите! – сказал Дрого.

Дверь открылась, и показался старый портной Просдочимо, совсем согбенный, в нелепом одеянии, когда-то бывшем сержантской формой. Он слегка запыхался и, войдя в комнату, указательным пальцем правой руки ткнул в воздух, имея в виду что-то находящееся по ту сторону крепостных стен.

– Идут! Идут! – заговорщически сообщил он приглушенным голосом, словно это была великая тайна.

– Кто идет? – спросил Дрого, с удивлением глядя на взбудораженного портного. И подумал: вот влип! Стоит этому типу разболтаться, так раньше чем через час от него не избавишься.

– Они идут по дороге, Господи Боже ты мой, по северной дороге! Все уже на террасе: смотрят.

– По северной дороге? Солдаты, что ли?

– Батальонами, батальонами! – уже кричал старичок, сжимая кулаки. – На этот раз никакой ошибки, к тому же пришла депеша из генерального штаба: сообщают, что нам выслано подкрепление! Это война! Война! – кричал Просдочимо, и было непонятно, то ли от испуга он так надрывается, то ли от радости.

– Их уже видно? Без подзорной трубы? – Дрого сел в кровати, охваченный ужасным волнением.

– Еще как видно, черт побери! У них даже пушки, наши насчитали уже восемнадцать штук!

– И когда они могут на нас напасть? Сколько времени им потребуется, чтобы добраться сюда?

– Да что говорить! При такой-то дороге!... Я думаю, через два дня они уже будут здесь. Максимум через два!

Проклятая постель, подумал Дрого. Лежи тут, прикованный. Надо же было заболеть! Ему и в голову не пришло, что Просдочимо мог сказать неправду. Он сразу поверил: все так и есть, он же заметил, что даже воздух изменился, и не только воздух, а сам солнечный свет стал другим.

– Просдочимо, – сказал он, с трудом переводя дыхание, – сходи позови Луку, моего денщика... нет, звонить бесполезно, он, должно быть, внизу, в канцелярии – ждет, когда ему дадут для меня бумаги, иди скорее, прошу тебя!

– Я сию минуту, господин майор! – откликнулся Просдочимо уже на ходу. – Не думайте больше о своих болячках, выходите на стену, сами все увидите!

Он выбежал, забыв даже закрыть за собой дверь: слышно было, как шаги его удаляются по коридору, потом снова наступила тишина.

– Господи, сделай так, чтобы я почувствовал себя лучше, молю тебя, хотя бы на неделю, – шептал Дрого, не в силах справиться с волнением.

Он хотел немедленно встать, встать любой ценой и тотчас отправиться на стену, показаться Симеони, дать всем понять, что он не манкирует, что он на своем командном посту и, как всегда, выполняет возложенные на него обязанности, ибо уже совершенно здоров.

Бах! От сквозняка, потянувшего из коридора, с грохотом захлопнулась дверь. В глубокой тишине этот громкий и зловещий удар прозвучал ответом на молитву Дрого. Почему Лука все не идет? Сколько времени нужно этому идиоту, чтобы одолеть два лестничных марша?

Не дожидаясь денщика, Дрого встал с кровати, и у него сразу же закружилась голова. Но постепенно головокружение прошло. Теперь он стоял перед зеркалом и испуганно смотрел на свое лицо – желтое, изможденное. Это все от бороды, попробовал утешить себя Джованни и неверными шагами в одной ночной рубашке стал бродить по комнате в поисках бритвы. Но почему же не идет Лука?

Бах! – снова хлопнула дверь, приведенная в движение сквозняком.

– Черт бы тебя побрал! – буркнул Дрого, направляясь к двери, чтобы ее закрыть, и тут услышал приближающиеся шаги денщика.

Тщательно выбритый и одетый – правда, форма теперь болталась на нем, как на вешалке, – майор Джованни Дрого вышел из комнаты и направился по коридору, показавшемуся ему много длиннее, чем обычно. Лука шел рядом, отступя лишь на шаг, чтобы в любую минуту его подхватить, ибо видел, что командир с трудом держится на ногах. Теперь головокружение накатывало волнами, и каждый раз Дрого приходилось останавливаться и пережидать, опершись о стену. Я слишком волнуюсь, нервы шалют, подумал он. Но в общем мне все-таки лучше.

Головокружение и впрямь прошло, и Дрого поднялся на верхнюю террасу форта, где группа офицеров разглядывала в подзорные трубы треугольный участок равнины, не заслоненный скалами. Джованни, щурясь от непривычного глазу яркого солнца, невпопад отвечал на приветствия. Ему показалось – а может, он сейчас вообще был склонен видеть все в черном свете, – что младшие офицеры поздоровались с ним несколько небрежно, словно он не был уже их непосредственным начальником, в известном смысле вершителем их судеб. Неужели они считают его конченным человеком?

Эту неприятную мысль быстро вытеснили другие: тревожные мысли о войне. Прежде всего Дрого заметил, что над валом Нового редута поднимается тонкая

струйка дыма: значит, там снова поставили караулы, чрезвычайные меры уже приняты, весь гарнизон приведен в боевую готовность, а его, помощника коменданта, даже не известили. Если бы Просдочимо не пришел по собственной инициативе и не позвал его, он бы до сих пор лежал в постели, даже не подозревая об опасности.

Дрого охватил гнев, жгучий и бессильный, в глазах у него помутилось, так что пришлось прислониться к парапету; однако любое свое движение он теперь взвешивал, чтобы другие не поняли, насколько плохи его дела. Он чувствовал себя страшно одиноким, окруженным врагами. Было здесь, правда, несколько молодых лейтенантов, которые к нему привязаны – Моро, например. Но много ли значит поддержка младших офицеров?

В этот момент он услышал за своей спиной команду «смирно». Дрого оглянулся и увидел стремительно приближающегося подполковника Симеони. Лицо у него было красное.

– Я уже полчаса ищу тебя повсюду! – воскликнул он, обращаясь к Дрого. – Надо что-то делать! Принять какое-то решение!

Подходя, он изобразил на лице выражение участия и сосредоточенно сдвинул брови, словно больше всего на свете ему сейчас нужны были советы Дрого. Эти слова обезоружили Джованни, гнев точно рукой сняло, хотя он прекрасно понимал, что его обманывают. Симеони ошибался, полагая, будто Дрого уже не сможет встать с постели, и забыл о нем думать. Все решения он принимал сам, рассчитывая поставить Дрого в известность о происходящем, когда дело будет уже сделано. Но кто-то сказал ему, что Дрого ходит по Крепости, и он побежал его искать, чтобы заверить в своих лучших намерениях.

– У меня тут депеша от генерала Стацци, – сказал Симеони, предупреждая возможные вопросы Дрого и отводя его в сторонку, чтобы другие не услышали. – Понимаешь, с минуты на минуту придут два полка, а где прикажете их разместить?

– Два полка подкрепления? – ошеломленно переспросил Дрого.

Симеони показал ему депешу. Генерал сообщал, что в целях безопасности и пресечения возможных провокаций со стороны противника два полка – 17-й пехотный и еще один, усиленный легкой артиллерией, – придаются в помощь гарнизону Крепости. По мере возможности надо восстановить гарнизон в прежних масштабах и расквартировать вновь прибывших солдат и офицеров. Часть их, естественно, придется разместить в палатках.

– А пока я отправил один взвод на Новый редут. Правильно, как ты считаешь? – добавил Симеони и, не дожидаясь ответа, снова спросил: – Ты их уже видел?

– Да-да, все правильно, – с трудом выдавил из себя Джованни.

Слова Симеони отдавались у него в ушах прерывистыми и бессмысленными звуками, все вокруг неприятно покачивалось. Дрого было плохо, внезапно к горлу подкатила дурнота, и он все силы сосредоточил на том, чтобы удержаться на ногах. О Господи, о Господи, молил он мысленно, помоги мне хоть немного!

Чтобы скрыть свое состояние, он взял в руки подзорную трубу (знаменитую подзорную трубу Симеони) и направил ее на север, упершись локтями в парапет – иначе бы, наверно, не устоял. Ох, если бы враги хоть чуть-чуть подождали, ему ведь и недели хватит, чтобы восстановить силы. Они ждали столько лет, так почему бы им не задержаться еще на несколько дней, всего на несколько дней?

Он направил подзорную трубу на треугольник пустыни, надеясь, что ничего там не заметит – никакого признака жизни. Вот о чем мечтал теперь Дрого, всю жизнь положивший на ожидание врага.

Он надеялся, что ничего там не увидит, но какая-то черная полоса пролегла наискосок через белесую пустыню, и к тому же двигалась: кишачья масса людей и повозок спускалась с севера в сторону Крепости. Это были уже не жалкие вооруженные отряды, занимавшиеся разметкой границы. Явилось наконец войско северян, и как знать...

Тут изображение в окуляре подзорной трубы завертелось, как вода в воронке, становясь все темнее, темнее, пока не сделалось совсем черным. Потерявший сознание Дрого, словно тряпичная кукла, безвольно повис на парашюте. Симеони вовремя успел его подхватить. Поддерживая безжизненно обмякшего Дрого, он через сукно ощутил его торчащие ребра.

XXVIII

Прошел день, прошла ночь, майор Джованни Дрого лежал в постели; время от времени до его слуха доносилось ритмичное бульканье в цистерне – и ничего больше, хотя по всей Крепости с каждой минутой нарастало тревожное возбуждение. Изолированный от мира Дрого лежал и прислушивался к своему организму, надеясь, что утраченные силы вдруг начнут к нему возвращаться. Доктор Ровина сказал, что это вопрос нескольких дней. Пусть так, но скольких же? Сможет ли он, когда нагрянет враг, хотя бы встать на ноги, одеться, доплестись до верхней террасы? Иногда Дрого поднимался с кровати – ему казалось, что он чувствует себя немного лучше, – самостоятельно доходил до зеркала, но глядевшее на него оттуда страшное лицо землистого цвета с ввалившимися щеками не оставляло никаких иллюзий. С затуманенными от головокружения глазами он, пошатываясь, возвращался в постель и проклинал врача, который не мог его вылечить.

Полоска солнечного света на полу прошла довольно большой отрезок своего ежедневного пути – значит, уже не меньше одиннадцати; со двора доносились какие-то непривычные звуки и голоса, а Дрого все лежал неподвижно, уставясь в потолок. Вдруг в комнату вошел комендант Крепости подполковник Симеони.

– Как дела? – спросил он бодрым голосом. – Лучше? Что-то ты, по-моему, очень уж бледен.

– Знаю, – холодно ответил Дрого. – Северяне далеко продвинулись?

– Еще как далеко, – сказал Симеони. – Их артиллерия уже поднята на гряды. Сейчас ее устанавливают... Ты уж прости, что я не зашел раньше... У нас тут настоящий ад... После обеда прибудет подкрепление, мне только сейчас удалось выкроить пяток минут...

– Завтра, – сказал Дрого и сам удивился, услышав, как дрожит его голос, – завтра я надеюсь подняться – хоть немного тебе помогу.

– О, нет-нет, выбрось это из головы, главное – поскорее выздоравливай и не думай, что я о тебе забыл. У меня даже есть для тебя приятная новость: сегодня за тобой прибудет отличный экипаж. Война войной, а дружба прежде всего... – сказал он, собравшись с духом.

– Экипаж? За мной? Почему за мной?

– Ну конечно, за тобой, чтобы увезти тебя отсюда. Не можешь же ты вечно торчать в этой дыре. В городе тебя будут лечить лучше, там ты через месяц

встанешь на ноги. А здешние дела пусть тебя не тревожат, основные трудности уже позади.

Дрого так и затрясся. Его, пожертвовавшего всем ради встречи с врагом, его, больше трех десятков лет жившего этой единственной надеждой, изгоняют из Крепости именно теперь, когда враг наконец-то у ворот!

– Тебе следовало хотя бы спросить моего согласия, – ответил он дрожащим от возмущения голосом. – Я с места не сдвинусь, я хочу быть здесь, и не так уж я тяжело болен, как ты думаешь, вот завтра поднимусь...

– Не волнуйся ты, ради Бога, никто тебя не заставляет, от волнения тебе же хуже станет, – сказал Симеони с вымученной сочувственной улыбкой. – Мне только казалось, что так будет гораздо лучше, да и Ровина говорит...

– Что может сказать твой Ровина? Это он тебе посоветовал вызвать экипаж?

– Нет-нет, об экипаже у нас и разговору не было. Но он считает, что тебе полезно переменить обстановку.

И тогда Дрого решил поговорить с Симеони как с другом, излить перед ним душу, как прежде делал с одним лишь Ортицом. В конце концов, Симеони тоже человек.

– Послушай, Симеони, – начал он другим тоном. – Ты ведь знаешь, что здесь, в Крепости... все остаются служить только ради надежды... Это трудно объяснить, но ты-то должен меня понять. – (Нет, ничего он не мог ему объяснить. Есть вещи, которые до таких людей не доходят.) – Если бы нам... если бы не эта надежда...

– Не понимаю, – ответил Симеони с нескрываемым раздражением. (К чему эта патетика, подумал он. Неужели Дрого от болезни начал впадать в детство?)

– Но ты же должен понять, – твердил свое Джованни. – Больше тридцати лет я сижу здесь и жду... Я упустил столько возможностей. Тридцать лет – не шутка, и все тридцать лет я ждал, когда появится враг. Ты не можешь требовать, чтобы именно теперь... Чтобы именно теперь я уехал... Не можешь, я имею право остаться, если уж на то пошло...

– Хорошо, – резко произнес Симеони. – Я думал, что оказываю тебе услугу, а ты отвечаешь такой неблагодарностью. Выходит, не стоило труда... Я специально отправил двух вестовых, специально задержал переброску одной батареи, чтобы можно было пропустить твой экипаж.

– Но я же тебя не упрекаю, – отозвался Дрого. – Я даже признателен тебе, ты сделал это из лучших побуждений, я понимаю. – (О, какая мука, думал он, пытаться задобрить эту сволочь!) – Но ведь экипаж может остаться здесь. К тому же сейчас я, пожалуй, и не выдержу такого путешествия, – опрометчиво добавил он.

– Только что ты говорил, что завтра уже поднимешься, а теперь – что не можешь даже сесть в экипаж, прости, но, по-моему, ты сам не знаешь, чего хочешь...

Дрого попытался исправить свою оплошность:

– Но это же совершенно разные вещи, одно дело – проделать такое путешествие, другое – дойти до смотровой площадки... мне туда даже скамейку могут принести, и я сяду, если почувствую слабость. – (Сначала он хотел сказать «стул», но подумал, что это будет выглядеть и вовсе нелепо.) – Там я смогу следить за несением караула... смогу хотя бы все видеть.

– Тогда оставайся. Оставайся! – сказал, как бы подводя черту, Симеони. – Но я не знаю, где мне устроить прибывающих офицеров, не могу же я разместить их

в коридорах или в подвале! А в твоей комнате можно было бы поставить три койки...

Дрого похолодел. Так вот до чего дошел Симеони? Решил отправить отсюда его, Дрого, чтобы освободить комнату? Только ради этого? Заботы, дружба тут, оказывается, ни при чем? Я мог бы с самого начала догадаться, подумал Дрого, чего же еще ждать от такого подлеца?

Ободренный молчанием Дрого, Симеони снова принялся за свое:

– Три койки здесь поместились бы прекрасно. Две – вдоль этой стены, а третья вон в том углу. Видишь? Дрого, если ты меня слушаешь, – сказал он совсем уж бесцеремонно, – если ты меня слушаешь, то очень облегчишь мне задачу, ведь, в сущности, прости за откровенность, какая от тебя здесь польза в твоём-то положении?

– Хорошо, – перебил его Джованни. – Я все понял, а теперь уходи, прошу тебя. У меня голова разболелась.

– Прости, – сказал Симеони. – Прости меня за настойчивость, но я хотел бы покончить с этим прямо сейчас. Экипаж уже в пути, Ровина одобряет твой отъезд, комната освободится, да и ты в городе скорее поправишься. И потом я, держа тебя здесь, больного, тоже беру на себя немалую ответственность: а ну как случится беда? Серьезную ответственность – говорю тебе это со всей прямоотой.

– Послушай, – сказал Дрого, уже понимая, что всякое сопротивление бесполезно. Он не спускал глаз с полоски солнечного света, которая поднималась по стене, вытягиваясь и перерезая ее наискосок. – Извини, что я отказываюсь, но мне хотелось бы остаться. Никаких неприятностей я тебе не причиню, обещаю, могу даже дать письменное обязательство. Уходи, Симеони, оставь меня в покое, наверно, мне не так уж долго осталось жить, позволь же мне остаться здесь, ведь больше тридцати лет я сплю в этой комнате...

Симеони помолчал, презрительно глядя на больного товарища, потом недобро улыбнулся и сказал:

– А если я потребую этого от тебя как старший по званию? Если таков мой приказ? Что ты на это скажешь? – Он сделал паузу, наслаждаясь произведенным впечатлением. – Ах, дорогой мой Дрого, мне неприятно говорить тебе это, но куда подевалось твое мужество солдата?... В конце концов, ты едешь туда, где безопасно, многие хотели бы быть сейчас на твоём месте. Я допускаю, ты огорчен, но нельзя же требовать от жизни всего, надо рассуждать здраво... Я пришлю к тебе твоего денщика, и ты соберешься. В два часа экипаж должен быть уже здесь. Итак, увидимся позже...

С этими словами он быстро вышел из комнаты, чтобы не дать Дрого времени на новые возражения, резко захлопнул дверь и решительным шагом удалился по коридору, как человек вполне довольный собой и тем, что сумел настоять на своем.

Воцарилась гнетущая тишина. Хлюп! – булькнуло за стеной в цистерне. После чего в комнате послышался лишь прерывистый вздох Дрого – скорее не вздох, а всхлип. Погожий день был в самом разгаре, даже камни начали понемногу прогреваться; издали доносился однообразный звон воды, падающей с отвесных склонов; враг под прикрытием гряды стягивал свои силы к Крепости. По дороге, проложенной через пустыню, подходили и подходили войска и обозы. На эскарпах форта все уже было готово: снаряжение приведено в порядок, солдаты расставлены по местам, оружие проверено. Взгляды всех были устремлены на север, хотя из-за гор ничего толком нельзя было разглядеть (вся пустыня хорошо

просматривалась только с Нового редута). Как и в те далекие дни, когда чужеземцы явились сюда, чтобы разметить границу, в Крепости царило всеобщее смятение чувств: радость граничила со страхом. Во всяком случае, никому и в голову не пришло подумать о Дрого, который с помощью Луки уже одевался, готовясь к отъезду.

XXIX

Экипаж оказался действительно вполне приличным, даже слишком шикарным для здешних проселочных дорог. Его можно было бы принять за карету какого-нибудь богатого господина, если бы на дверцах не было полкового герба. На козлах восседали два солдата – кучер и денщик Дрого.

Из-за суматохи, царившей в Крепости, куда уже стали прибывать первые эшелоны пополнения, никто не обратил особого внимания на худого офицера с изнуренным желтоватым лицом, который медленно спустился по ступенькам, пересек вестибюль и вышел к подъезду, где его уже ждал экипаж.

В этот момент на залитом солнцем плато появилась длинная колонна солдат, лошадей и мулов, подоспевших из долины. Было видно, что, несмотря на усталость, люди, шедшие форсированным маршем, завидев Крепость, прибавили шагу, а музыканты, возглавлявшие колонну, сняли с инструментов серые полотняные чехлы, словно вот-вот собирались заиграть.

Между тем офицеры прощались с Дрого – правда, немногие и не так сердечно, как бывало прежде. Казалось, все понимали, что он уезжает навсегда и теперь в иерархии Крепости ничего уже собой не представляет. Лейтенант Моро и с ним еще несколько человек подошли к Дрого, чтобы пожелать ему доброго пути, но прощание было очень коротким, с той ни к чему не обязывающей предупредительностью, которая свойственна молодежи в отношениях со старшими. Один из них сообщил Дрого, что комендант Симеони просит его немного подождать: он сейчас очень занят. В общем, пусть майор Дрого повременит немножко, господин комендант непременно придет.

Но, забравшись в экипаж, Дрого приказал сразу же трогать. По его просьбе откинули верх, чтобы легче дышалось, обернули ему ноги двумя или тремя темными полостями, на фоне которых особенно ярко блестела его сабля.

И экипаж, подпрыгивая, покатил по каменистому плато; путь Дрого лежал теперь к его последнему приюту. Мотая при каждом толчке головой, он повернулся на сиденье и не отрывал глаз от желтых крепостных стен, которые становились все ниже и ниже.

Там, наверху, вдали от остального мира, провел он свою жизнь; там, в ожидании врагов, он промучился больше тридцати лет, теперь же, когда враг у ворот, его прогнали. А те, кто отсиживались в городе, наслаждаясь легкой и веселой жизнью, вот они, пожалуйста, явились на перевал с высокомерными, пренебрежительными улыбками – за чужой славой.

Дрого не мог оторвать взгляда от желтоватых стен Крепости, геометрически четких силуэтов казарм и пороховых складов, и скупые горькие слезы медленно катились по его морщинистым щекам. Какой жалкий финал, и ничего уже не поделаешь.

Ничего, ровным счетом ничего не осталось у Дрого, он один на всем белом свете, совсем больной. Его выгнали из Крепости как прокаженного. «Ах вы, проклятые, ах проклятые», – бормотал он. А потом решил: будь что будет, не надо больше ни о чем думать, иначе сердце разорвется от обиды и гнева.

Солнце уже клонилось к закату, а ехать оставалось еще порядочно; оба солдата на козлах преспокойно болтали, им было все равно – ехать или оставаться. Они принимали жизнь такой, какая она есть, не обременяя себя лишними переживаниями. Экипаж был отличной конструкции – настоящая карета «скорой помощи», – но, как чуткая стрелка весов, реагировал на каждую выбоину на дороге. А Крепость, вписанная в горный ландшафт, становилась все меньше, все приземистее, и стены ее в этот весенний день приобрели какой-то странный оттенок.

Вероятно, я вижу ее в последний раз, подумал Дрого, когда экипаж выехал на край плато, к тому месту, где начинался спуск в долину. Прощай, Крепость! Но сознание его было уже несколько затуманено, и он не осмелился попросить, чтобы коней остановили и дали ему в последний раз взглянуть на старую цитадель, которая только теперь, спустя столько веков, начинала наконец выполнять свое предназначение.

Глаза Дрого задержались напоследок на желтоватых стенах, покатых бастионах, полных тайны редутах, на возвышавшихся по бокам почерневших после оттепели скалах. В какой-то миг Джованни показалось, что стены Крепости вдруг вытянулись вверх, к небу, и сверкнули на солнце, но тут же все резко оборвалось: Крепость скрылась за поросшими травой горами, и дорога нырнула в долину.

Часов в пять они добрались до постоянного двора у дороги, тянувшейся вдоль ущелья. Наверху, как мираж, высилось хаотическое нагромождение унылых гор – и покрытых зеленью, и обнаженных, с красноватыми склонами, где, возможно, никогда не ступала нога человека. Внизу бурлил поток.

Экипаж остановился на небольшой площадке перед постоянным двором как раз в тот момент, когда мимо проходил батальон мушкетеров. Дрого увидел проплывавшие мимо молодые потные и покрасневшие от здоровой усталости лица, глаза, удивленно разглядывавшие его. Только офицеры отдали ему честь. В удалявшемся разноголосье он разобрал чьи-то слова: «А старикашка-то едет со всеми удобствами!» Но никто не рассмеялся шутке. Эти люди идут на битву, а он трусливо бежит в долину. Вот чудной офицер, наверно, думали солдаты, если только по лицу его не поняли, что и он тоже направляется навстречу смерти.

Дрого никак не мог побороть состояние какого-то странного оупения, обволакивающего его, словно туман: то ли его укачало, то ли болезнь брала свое, то ли мучило сознание, что вот так, бесславно, заканчивается жизнь. Все ему теперь было безразлично, абсолютно все. Мысль, что он вернется в родной город, будет бродить, шаркая ногами, по своему старому пустому дому или долгие месяцы лежать в постели, томясь от скуки и одиночества, приводила его в ужас. Торопиться было некуда, и он решил заночевать на постоялом дворе.

Подождав, когда весь батальон прошагает мимо, поднятая сапогами пыль уляжется и рев горного потока заглушит грохот повозок, он медленно, опираясь на плечо Луки, выбрался из экипажа.

На пороге дома сидела женщина и сосредоточенно вязала, а у ее ног в грубо сработанной колыбели спал ребенок. Дрого зачарованно смотрел, как чудесно он спит, совсем не так, как взрослые, а глубоко и безмятежно. Это маленькое существо еще не ведало тревожных снов, крошечная душа его беспечно витала без желаний и сожалений в тишайшем и чистом воздухе. Дрого постоял, любясь спящим ребенком, и сердце его сжалось от жгучей тоски. Он попытался вообразить спящим самого себя – как бы чужого Дрого, которого он не мог знать и видеть. Фантазия нарисовала ему собственное тело, погруженное в животный сон и

беспокойно вздрагивающее, приоткрытый рот, тяжелое дыхание, отвисшую челюсть. Но ведь когда-то и он спал вот так, как этот ребенок, он тоже был милым и невинным, а какой-нибудь старый больной офицер, возможно, стоял рядом и смотрел на него с горьким изумлением. Бедный Дрого, подумал он, сознавая, сколь странно это определение, но, в конце концов, он ведь действительно один на всем белом свете, кто еще его пожалеет, если не он сам?

XXX

Очнулся он в глубоком кресле в какой-то спальне; стоял чудесный вечер, через окно в комнату струился свежий ветерок. Дрого безучастно смотрел на небо – оно становилось все синее, – на фиолетовые тени долины, на горные вершины, еще освещенные солнцем. Крепость осталась далеко, отсюда не было видно перевала, на котором она стоит.

Такой вечер должен был принести ощущение счастья даже не очень счастливым людям. Джованни представил себе окутанный сумерками город, весеннее томление души, влюбленных на набережной, звуки фортепьяно, льющиеся из уже освещенных окон, долетевший издали паровозный гудок. И тут же мысленно перенесся к огням вражеского бивака, разбитого в северной пустыне, к качающимся на ветру фонарям Крепости в эту бессонную, прекрасную ночь накануне сражения. У всех есть какое-то, пусть самое ничтожное, основание на что-то надеяться. У всех, только не у него.

Внизу, в общем зале, запел мужской голос, потом к нему присоединился еще один: они пели какую-то народную песню о любви. Высоко в небе, там, где синева была совсем бездонной, засверкало несколько звезд. Дрого был один в комнате, денщик пошел вниз пропустить стаканчик; в углах и под мебелью сгустились подозрительные тени. На миг Джованни показалось, что он не выдержит (в конце концов, никто его не видит и никто на свете этого не узнает), да, на какое-то мгновение майору Дрого показалось, что от груза переживаний, теснивших его грудь, он вот-вот разрыдается.

Именно тогда в самых далеких уголках его сознания впервые мелькнула новая, четкая и страшная мысль. Мысль о смерти.

Ему почудилось, что бег времени словно по волшебству приостановился. Сначала был водоворот, затягивавший его в последнее время все глубже, а потом вдруг все исчезло, плоский мир застыл в неподвижности и стрелки часов побежали неизвестно в каком направлении. Дорога для него кончилась; сейчас он видел себя на пустынном берегу серого, однообразного моря, а вокруг не было ни дома, ни дерева, ни человека, и так – с незапамятных времен.

Он чувствовал, что с дальних границ на него надвигается, постепенно нарастая и сгущаясь, тень; возможно, это был уже вопрос часов, недель или месяцев, но ведь и недели, и месяцы – ничто, когда они отделяют тебя от смерти. Выходит, вся жизнь его обернулась этакой насмешкой: из-за нелепой гордыни, из-за желания выиграть спор он потерял все.

Синева за окном совсем сгустилась, но на западе, над фиолетовыми силуэтами гор, еще виднелась светлая полоска. А в комнату уже вошла темнота, можно было различить лишь наводящие страх очертания мебели, белую постель, сверкающую саблю. Да, отсюда – это ясно – ему уже не выбраться.

Сидя в темноте и слушая доносившееся снизу мелодичное пение под гитару, Джованни Дрого почувствовал, как в нем зарождается новая, последняя надежда.

Один в целом свете, больной, выброшенный за ненадобностью из Крепости, как балласт, он, обойденный всеми, неуверенный и слабый, возмечтал, что не все еще потеряно, что именно сейчас ему представился небывалый случай вступить в последнюю битву, которая сможет оправдать всю его жизнь.

Да, на Дрого наступал его последний враг. Не люди, подобные ему, терзаемые, как и он, страстями и страданиями, не люди из плоти, которую можно ранить, с лицами, в которые можно заглянуть, а нечто всемогущее и коварное. Сражаться можно не только на крепостных стенах, среди грохота боя и яростных криков под голубым весенним небом; не только бок о бок с друзьями, чье присутствие придает человеку сил; не обязательно в терпком запахе пыли и порохового дыма, не с одними помыслами о славе. Все произойдет в комнате захудалого трактира при свете свечи, в полнейшем одиночестве.

Это не то сражение, после которого возвращаешься солнечным утром увенчанный цветами и молодые женщины дарят тебе свои улыбки. Здесь нет зрителей, никто не крикнет: браво.

Да, это будет куда более суровая битва, чем та, что рисовалась ему в мечтах. Даже старые опытные вояки предпочли бы в ней не участвовать. Потому что прекрасно, должно быть, погибнуть под открытым небом, в яростной схватке, когда ты еще молод и крепок телом, под победные звуки фанфар; обиднее, конечно, умереть от раны, после долгих мучений, в госпитальной палате; еще горше закончить дни в своей постели, под сочувственные причитания родных, среди притушенных ламп и пузырьков с лекарствами. Но совсем уж невыносимо умереть в чужой, никому не ведомой деревне, на обыкновенной гостиничной койке, старым и уродливым, никого не оставив на этом свете.

Так смелей же, Дрого, у тебя осталась последняя карта, ты должен встретить смерть как солдат, пусть твоя неудавшаяся жизнь хоть окончится красиво. Ты должен наконец отомстить судьбе; никто не вознесет тебе хвалу, никто не назовет героем, но уже из-за одного этого стоит принять вызов. Твердо переступи границу тени, гордо, как на параде, выпятив грудь, и даже улыбнись, если удастся. В конце концов, совесть твоя не слишком отягощена, и Господь сумеет тебя простить.

Такие слова – что-то вроде молитвы – говорил себе Джованни, чувствуя, как все туже сжимается вокруг него заключительный виток жизни. И из глубокого колодца, куда кануло все прошлое, все несбывшиеся мечты и перенесенные унижения, поднялась сила, на которую он никогда не посмел бы рассчитывать. С невыразимой радостью Джованни Дрого вдруг заметил, что он совершенно спокоен и чуть ли не сам рвется поскорее пройти это испытание. Значит, нельзя требовать от жизни всего? Ты так считаешь, Симеони? Сейчас Дрого тебе покажет.

Смелей же, Дрого. И он попробовал бороться, не сдаваться, посмеяться над страшной мыслью. Все силы своей души вложил он в этот отчаянный порыв, словно один шел сражаться с целой армией. И сразу же былые страхи рассеялись, призраки сникли, смерть утратила свой ужасный облик, превратившись в нечто простое и согласное с природой. Майор Джованни Дрого, изнуренный болезнью и годами слабый человек, пошел грудью на огромный черный портал и увидел, что створки его рушатся, открывая путь свету.

Сушим пустыяком казались ему теперь тяготы жизни на эскарпах Крепости, наблюдение за унылой северной пустыней, отчаяние из-за несложившейся карьеры, долгие годы ожидания. Теперь можно было не завидовать даже Ангустине. Да, Ангустина умер на вершине горы, в круговерти бури, ушел из жизни и впрямь очень красиво. Но куда более заманчиво закончить жизнь геройски в

условиях, выпавших на долю Дрого, обессиленного, отвергнутого, оказавшегося среди незнакомых людей.

Одно только огорчало его – что уйдет он из этого мира в таком жалком виде: иссохшее тело, выпирающие кости, дряблая, бледная кожа. Ангустине повезло, думал Джованни, он умер во цвете лет и, несмотря на прошедшие годы, сохранился в памяти высоким стройным молодым человеком с благородным лицом, так привлекавшим женщин, – в этом его преимущество. Но как знать, может, за роковым тем порогом и он тоже сможет стать прежним, пусть некрасивым (красив Дрого не был никогда), но полным молодых сил. Вот бы хорошо, думал он, утешаясь этой мыслью, как ребенок, ибо чувствовал себя сейчас удивительно свободным и счастливым.

Но потом ему пришло в голову другое: а что, если все это обман? Вдруг его смелость – это лишь преходящее опьянение? Что, если все объясняется просто чудесным закатом, ароматным ветерком, временной передышкой от физических страданий, песнями, доносящимися снизу? И через несколько минут или через час он вновь станет прежним Дрого – слабым и разбитым?

Нет, не думай об этом, Дрого, хватит терзаться, самое страшное уже позади. Даже если боль вновь одолеет тебя, даже если музыка больше не сможет служить утешением и вместо этой прекрасной ночи нахлынет зловонный туман, оправдание у тебя будет. Главное уже позади, и этого никому у тебя не отнять.

В комнате стало совсем темно, лишь с большим трудом можно было различить белеющую постель, а все остальное сделалось черным. Скоро покажется луна.

Успеет ли Дрого увидеть ее или отойдет раньше? Дверь комнаты, поскрипывая, приоткрывается. Может, от ветра, от обыкновенного сквозняка, гуляющего по дому в такие беспокойные весенние ночи. А может, это беззвучным шагом вошла *она* и теперь приближается к креслу Дрого. Собрав последние силы, Джованни слегка выпрямляется в кресле, поправляет рукой воротничок мундира, еще раз бросает взгляд за окно, совсем короткий взгляд на последний свой кусочек звездного неба, и в темноте, хотя никто его не видит, улыбается.